

МАСТЕРА УЖАСОВ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ БРЭМА СТОКЕРА



ДЖОН ЛЭНГАН

РЫБАК

Джон Лэнган

Рыбак

Серия «Мастера ужасов»

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36966780
Джон Лэнган. Рыбак: АСТ; Москва; 2018
ISBN 978-5-17-106414-3

Аннотация

Голландский ручей – прекрасное место для рыбалки, живописный лесной уголок вдали от бесконечной суеты современной цивилизации. С ним связаны причудливые легенды о таинственном Рыбаке и о чудовищах, которых он ловил. Когда сюда приезжают Эйб и Дэн, два вдовца, потерявшие все самое дорогое в жизни, эти слухи кажутся им лишь очередной байкой, но постепенно рассказ о страшных событиях, которые случились в городе поблизости около века назад, о Рыбаке, монстрах и мертвецах вовлекают героев в историю мрачнее любого омута. Друзья еще не знают, что местные воды гораздо глубже, чем кажутся, и ведут в пространства, неподвластные человеку; что древние тайны не умерли до сих пор; что ад всегда рядом, а тем, кто отчаялся, вскоре выпадет шанс встретиться со всем, что они потеряли. Вот только цена за эту встречу будет непомерной.

Содержание

Часть первая	7
1	7
2	32
3	63
Часть вторая	85
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Джон Лэнган

Рыбак

John Langan

THE FISHERMAN

This edition is published by arrangement with Curtis Brown Ltd. and Synopsis Literary Agency

© John Langan, 2016.

© Григорий Шокин, перевод, 2018

© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

В оформлении обложки использована иллюстрация *Михаила Емельянова*

Лауреат премии Брэма Стокера

«Рыбак» – это необычайно плотный роман, под завязку забитый идеями и образами. Странная, ужасающая и невероятная история с непредсказуемым сюжетом и явно выраженным ритмом.

The New York Times

«Рыбак» – это превосходная работа, мало похожая на все,

что было до нее. Головоломная и мрачная история о любви, потере, дружбе и бесконечном ужасе, которая послужит прекрасным дополнением на полке любителя как космического лавкрафтовского ужаса, так и традиционного хоррора.

This Is Horror

Обманчивый, устрашающий и трогательный, «Рыбак» – это настоящий современный эпический хоррор. И книга, обязательная для прочтения.

Пол Тремблэ

Посвящается Фионе

Может быть, своей бескрайностью она предрекает нам бездушные пустоты и пространства вселенной и наносит нам удар в спину мыслью об уничтожении, которая рождается в нас, когда глядим мы в белые глубины Млечного Пути?

...Если представить себе все это, то мир раскинется перед нами прокаженным паралитиком; и подобно упрямым путешественникам по Лапландии, которые отказываются надеть цветные очки, жадный безбожник ослепнет при виде величественного белого покрова, затянувшего все вокруг него. Воплощением всего этого был кит-альбинос. Уместно ли тут дивиться вызванной им жгучей

ненависти?

Герман Мелвилл. Моби Дик¹

¹ Пер. с англ. Инны Бернштейн.

Часть первая

Мужчины без женщин

1

Как рыбалка спасла мне жизнь

Не надо звать меня Абрахам. Просто Эйб. Хоть имя Абрахам и было мне дано моей матушкой, я его никогда не любил. Оно звучит столь высокомерно, столь по-библейски, столь... *патриархально* – кажется, именно это слово мне нужно. Если и есть в мире такая роль, какую я не играю и играть не хочу, – так это роль *патриарха*, этакое былинного главы семьи. Было время, когда я хотел завести хотя бы одного ребенка, но ныне даже вид детей повергает меня в дрожь.

Несколько лет назад (точную дату не назову) я начал рыбачить. Теперь я уже рыбак со стажем – и, как можете догадаться, знаю пару-тройку историй с этой нивы. Такие уж мы, водопахари, верно? Сами не свои баечку стравить. Некоторые мои байки – из жизни; иные – из уст иных. Солидная их доля рассчитана на то, чтобы позабавить слушателя, заставить его улыбнуться, а то и хохотнуть разок-другой – и это, поверьте мне, не пустяки: порой немного веселья может вытянуть вас из омута плохих дней. Есть и такие истории, что

я величаю странными. Их я знаю немного, но те, что есть у меня в запасе, заставят вас в недоумении поскрести затылок, а то и мурашки по загривку пустят... что тоже, по-своему, в удовольствие.

А еще есть у меня такая история, что без всяких оговорок кошмарна. Такая, что рассказывать ее не тянет. Произошла она десять лет назад, в первую субботу июня. К концу того дня я лишился хорошего друга, большей части собственного здравомыслия... да что уж там, с жизнью едва-едва не распрощался. Был на волосок от того, чтобы потерять даже *больше*, чем все вышеперечисленное. Я тогда завязал с рыбалкой на доброе десятилетие. И, хоть сейчас и вернулся к ней потихоньку, никакими силами вы меня не затащите в горы Катскилл, к Голландскому ручью, – в то место, что народная молва нарекла *Der Platz das Fischer*².

Ручей вы можете сыскать на своей карте, коли проявите толику дотошности. Следуйте к восточной оконечности водохранилища Ашокан, вверх по Вудстоку, а потом – назад, вдоль южной береговой линии. Скорее всего, найдете не сразу, но теперь-то видите ту жиденькую голубую ниточку, что тянется от водохранилища до Гудзона, на север от Уилтвика? Вот там-то все произошло, ну а что именно – мне до сих пор в толк не взять. Могу поведать лишь о том, что видел и слышал сам. Знаю, что воды Голландского ручья глубоки – залегают куда как глубже, чем возможно, глубже, чем *следует*

² «Обиталище (место) Рыбака» (нем.) – Здесь и далее примечания переводчика.

em; и не очень-то мне и хочется думать о том, чем они полнятся. Шел я тогда по лесу в обход ручья, к тому месту, что вы не найдете на своей карте – ни на одной из тех, что продаются на бензозаправках или в магазинах товаров для рыбалки, его нет. Я стоял на берегу океана, чьи волны были цветом подобны чернилам, коими я вывожу эти слова. Я смотрел, как женщина с кожей столь бледной, словно лунный свет, разевает свой рот – открывает все шире, шире и шире, обнажая ряды острых зубов, что сделали бы честь акульим. Я держал старый нож прямо перед собой в безумно дрожащей руке, пока трое беженцев из ночного кошмара все ближе подступали ко мне. Я... да, вообще-то, я тороплю события, забегаю вперед собственному рассказу. Придется поведать вам еще кое о чем. Например, о Дэне Дрешере – старом бедном Дэне, что отправился со мной в горы в то утро. Пересказать вам историю Говарда, которая ныне имеет для меня куда больше смысла, чем имела тогда, когда я впервые услышал ее в закусочной Германа. Научить вас рыбалке, в конце концов. Всею свое время. Плохо сложенных историй я не приемлю. Истории лучше идти своим путем – ее нельзя взять и поставить, как туристическую палатку. История должна литься – как река, как песня... даже если в ней, как в этой, так много беспроглядной тьмы.

Вам, наверное, интересно, почему я так за нее трясусь. Некоторые вещи настолько плохи, что, просто находясь рядом с ними, вы портитесь, в вашей душе остается пятно зла –

как голый участок в лесу, на котором ничто уж не произрастет. Возможно ли подобное зло сокрыть в истории? Знаете... маленькие жизненные невзгоды, может, и можно превратить в безобидные анекдоты, рассказанные на вечеринках, но тот случай у ручья – с ним всё по-другому. Он не превратится в анекдот никогда. Он будет нести свою мрачную печать дальше.

Но есть еще кое-что. Есть байка, что мы с Дэном слышали в закусочной Германа. С тех пор как Говард рассказал, что случилось с Лотти Шмидт и ее семьей около девяноста лет назад, я до сих пор не могу выкинуть эту историю из памяти. Сказать, что она мне в мозг въелась, – не сказать ровным счетом ничего. Я могу вспомнить рассказ слово в слово: точно так же, как мог вспомнить Говард, которому обо всем, в свою очередь, рассказал один церковник. Без сомнения, одной из причин живости моей памяти является то, что история Говарда, кажется, объясняет многое из того, что случилось с Дэном и мной позже, в тот же день. Байка о строительстве водохранилища и о том, что покоится на его дне, беспокойно блуждает по лабиринтам моей памяти. Даже если бы мы прислушались к совету Говарда и не пошли на ручей в тот проклятый день, даже если бы мы развернулись и дали бы стрекача, как, определенно, следовало сделать, услышанное все равно клеймило бы наше дальнейшее бытие. Может ли простая история стать наваждением для слушателя, *овладеть* им? Порой я думаю, что рассказ о событиях той июнь-

ской субботы – лишь повод для того старого случая еще разок напомнить о себе миру.

Опять же, однако, я забегаю вперед. Всему свое время – и Лотти Шмидт, и ее папаше Райнеру, и человеку, которого он называл Der Fischer. Так что давайте-ка вернемся к истокам, и я поведаю вам о величайшей страсти моей жизни – таковой я ее полагал в то время: о страсти к рыбалке.

Рыбачить я научился не в детстве, как многие. Отец брал меня с собой раз-другой, но беда была в том, что он и сам не шибко хорошо управлялся с удочкой, так что предпочитал обучать меня тому, что у него самого выходило хорошо: бейсболу и игре на гитаре. Прошло где-то двадцать пять или даже тридцать лет после нашей с ним последней рыбалки, когда я проснулся однажды ночью и понял, что хочу пойти и закинуть удочку – желание в той же степени сильное, что и жажда, порожденная изнуряющей июльской жарой. С чего вдруг мне потребовалось порыбачить? Да если б я только знал. Конечно, положеньице мое было не из легких: я похоронил жену, с которой мы не прожили вместе и двух лет, жил скучной жизнью, о которой снимают дурацкие сериалы с закадровым смехом, заслушивал до дыр пластинки с кантри. А еще я много пил, и так как отец не научил меня обращаться с бутылкой как следует, ничего хорошего из этого не выходило: сначала полбутылки шотландского виски, потом полбутылки вина, потом судорожные объятия с унитазом. Моя работа тоже медленно, но верно шла коту под хвост: я был

системным аналитиком «IBM» в Покепси и всяко заслуживал увольнения, но мне повезло с начальством – меня отправили в длительный отпуск по болезни. В ту пору айбимэмовцы еще держались достойно – утвердили три месяца отгула с полной оплатой; скажи кому сейчас, не поверят. Почти весь первый месяц я потратил, ловя что-то на дне бесчисленных бутылок. Я ел, когда вспоминал о том, что так надо – то есть довольно-таки редко; основу моего рациона составляли бутерброды с арахисовым маслом и джемом, перемежаемые жареной картошкой. Второй месяц во многом походил на первый, если не считать визитов моего брата и родителей покойной жены, ни один из которых не прошел в должной степени хорошо, чтобы вспоминать в подробностях. Все мы страдали. Мэри была особенной, не похожей на других. Боль от ее утраты была по нам с той же силой, как боль от коренного зуба, грубо вырванного плоскогубцами: рана открытая и чрезвычайно болезненная, и мы постоянно тормозили ее разными воспоминаниями – просто не могли сказать себе «хватит».

На исходе третьего месяца я проводил дни на диване, у телевизора, вливая в себя все, что попадалось под руку. Как видите, я ничему не научился.

В шкафу в спальне у меня были припрятаны коробки из-под обуви, забитые нашими совместными фотографиями, которые я так и не удосужился расставить по альбомам. Когда алкоголь в моей крови побивал определенную отметку,

я доставал их и погружался в летопись нашего с Мэри брака. Вот – та пора, когда мы только-только встретились: начало лета, она стала работать у нас сразу после колледжа, и так получилось, что нам с ней перепал один проект на двоих. Поначалу мы лишь обменивались пустыми любезностями, сталкиваясь в проходе. В сентябре того года на вечеринке в честь Дня труда у Тима Стоффеля мы вдруг очутились за одним картежным столом, что в изобилии были разбросаны по лужайке. Мэри приехала с Дженни Барнетт, но Дженни куда-то смылась со Стивом Коллинзом, и из всех остальных посетителей вечеринки лучше всего Мэри знала меня. Она всегда отрицала сей факт, но я вполне уверен – спрашивая у меня, как дела, она просто убивала время, до того как ее тарелка опустеет и можно будет со спокойной совестью пойти домой. Вы, наверное, думаете, что тот разговор навсегда остался в моей памяти. Но черт меня раздери, если сейчас я могу вспомнить что-то, кроме своего восхищения, что она, оказывается, тоже фанатка Хэнка Уильямса-старшего³. Честно говоря, я был слишком отвлечен ее слегка избыточной наготой: на ней были только верх от бикини, обрезанные шорты и теннисные туфли. Ну да, типичный мужлан, знаю. Мы сидели, болтали, пока Тим не объявил, что пора бы и по домам. Назад мы возвращались не вместе, но эта встреча оставила след в моей душе – всё вокруг будто стало менее

³ *Хэнк Уильямс-старший* (1923–1953) – американский бард, композитор музыки в стиле кантри.

ярким, когда наши с Мэри пути разошлись.

Тем не менее часок-другой приятной беседы ничего тебе не гарантируют, правда? И, возможно, ко мне так бы и не попала эта фотокарточка, которую щелкнула Дженни: Мэри, с волосами, собранными в хвост, глаза и бóльшая часть лица скрыты линзами темных очков, бело-желтые бретельки бикини выделяются на фоне сильного летнего загара. По возрасту нас с Мэри разделяли солидные пятнадцать лет – разница достаточная, чтобы задуматься над тем, что я чувствую и чего желаю. Хотел бы я сказать, что моя нерешительность была связана с нежеланием тревожить женщину, достаточно молодую, чтобы годиться мне в племянницы (если не в дочери), но все-таки главная причина крылась в том, что я не хотел, чтобы на меня смотрели как на дурака. *Нет дурня хуже, чем дурень в летах*, говаривал мой отец, и хоть я и не чувствовал себя стариком, сидя рядом с Мэри, в ее кавалеры меня вряд ли с ходу кто-то бы записал.

Вот еще одно фото, весну спустя: мы с Мэри стоим по колено в бурном потоке – ну, мне вода была по колено, а ей, скорее, по ягодицы. Одна из ее подруг пригласила нас провести день в горах, где у ее брата была «сторожка выходного дня» – звучит не очень, но на деле все оказалось вполне себе мило. Располагалась пресловутая сторожка на полпути вверх по высокому холму, у гравийной дороги, на которой скорость лучше сильно сбавить, если нет желания изорвать шины в клочья. Снаружи местечко напоминало утлый

амбар, построенный скорее высоким, нежели протяженным; внутреннее же убранство щеголяло новехонькой древесной отделкой, кухонной утварью из нержавеющей стали, настоящим каменным камином и высокими потолками. По-видимому, домишко принадлежал какому-нибудь адвокату из Манхэттена, который почему-то сбыл его по дешевке брату подруги Мэри, скромному труженику почты, сразу как построил. Мы прибыли в обеденное время и провели там один из самых приятных дней в моей жизни.

Подругу Мэри звали, как мне кажется, Карен. Они выросли в одном дворе. Поднявшись по гравийной дороге где-то на милю, мы наткнулись на широкую поляну, на дальнем краю которой береговой линией деревьев маячил извив ручья. День выдался знойным, воздух едва ли не кипел, и тень деревьев в сочетании с изумительной прохладой воды, само собой, завлекла нас. Связав кроссовки шнурками и забросив их на шею, мы стали осторожно шагать по уступам – русло реки было скалистым. Карен шла, поднимая обе руки, будто вот-вот упадет. Мы с Мэри шли почти вплотную, подстраховывая друг друга. Не могу вспомнить, о чем мы тогда говорили. На ум приходят образы бегущей воды и тех маленьких паучков, что бегают по ее поверхности, – как их там, водомерки? Вроде бы да. Они соскальзывали вниз по течению целыми десятками – их крохотные лапки управлялись куда лучше моих неуклюжих ножищ. Между скал вихляла крупная форель и ловила водомерок: «плюп!» – и только растека-

ющаяся рябь колец указывала на то место, где только что был миниатюрный чудо-пловец. Не думаю, что мы сделали больше ста ярдов вниз по течению, когда нам на глаза попалась небольшая плотина. Вода, что текла через нее, была идеально прозрачной и не могла скрыть почтенный возраст сооружения, но что интереснее всего – на берегах по обе стороны от плотины не наблюдалось ничего такого, что объяснило бы, почему и зачем ее возвели именно в этом месте. Тут мы решили развернуться и пойти обратно к брату Карен, который готовил обед, но перед этим Карен сделала снимок: мы с Мэри стоим посреди бегущей воды. Ее волосы на фотографии распущены, на ней – мешковатая футболка, крашенная вручную; этот диковатый предмет гардероба одолжил ей я, и Мэри смеялась так, будто ничего в жизни смешнее не видела. («А Мерл Хаггард⁴ тоже в таких гонял?», спросила она, пока я с пылом объяснял, что кроме кантри я и «Грэйтфул Дэд» слушал.) В руке у нее – зеленая банка «Хайнекена»; пьющей Мэри не была, выпивала немного для того, чтобы держаться раскрепощенно. Фото разделено как бы на два фронта: светлый правый, где солнце освещает ручей, и темный левый, с непроглядной лесной чащей.

Между этой фотографией и той, что была до нее, – один из лучших годов. Покопавшись в ящике чуть более обстоятельно, я мог бы найти больше карточек, запечатлевших главные

⁴ Мерл Рональд Хаггард (1937–2016) – американский певец, композитор и легенда жанра кантри.

его дни – начиная рождественским ужином с семьей Мэри и заканчивая хэллоуинской вечеринкой, что была третьим нашим свиданием и на которой мы были обряжены в костюмы кантри-икон Кенни Роджерса и Долли Партон. Не знаю, все ли истории любви в основе своей одинаковы. Иногда мне кажется, что, если не вдаваться в частности, все пары проходят примерно через те же события. А иногда – что дьявол таки в деталях. Так или иначе, все это пришло к предсказуемому итогу. Мы влюбились друг в друга – и вскоре после того, как была сделана вторая фотография, я встал перед Мэри на колени и спросил у нее, выйдет ли она за меня замуж.

Полтора года до следующего ключевого фото. За это время мрак, что наполнял собою прорехи меж деревьев на том, втором, снимке, обволок нас и поглотил с той же легкостью, с какой форель лопала водомерок. Через неделю после нашего возвращения из медового месяца на Бермудских островах у Мэри в левой груди нашли уплотнение. Уже на этапе диагностики стало ясно, что все чертовски плохо: рак успел укорениться и уже наложил клешню на ее лимфатические узлы; он сопротивлялся облучению и химиотерапии с упорством какого-нибудь монстра-мутанта из второсортного фильма ужасов. Не уверен, когда точно мы узнали, что Мэри не выживет, когда мы это приняли. Каким-то образом – мне трудно найти нужные слова – она смирилась; не знаю, как правильнее описать ее состояние – как *покой* или как *покорность*? Она не выглядела безнадежной больной, смеялась даже ча-

ще, чем прежде, расслаблялась как могла. Я даже решил, что ее отказ сникнуть перед лицом болезни означает, что ее организм потихоньку берет верх над поселившимся в нем чудовищем. Я даже поделился с ней этой идеей одним субботним днем. Я довез ее до Гудзона, до небольшого парка, который ей нравился, в нескольких милях к югу от Уилтвика. Мы набрали на него в один из наших первых совместных выходных, когда отправились на прогулку, дабы хоть как-то разнообразить досуг. В этот день с реки налетал бриз, она замерзла, потому мы вернулись в машину и стали наблюдать за водой. Я спросил у Мэри, не чувствует ли она выздоровление – неужто мой голос взаправду звучал так отчаянно, как я боялся? Она не ответила – вместо этого взяла мою правую руку в свою левую, поднесла ладонь к губам и легонько поцеловала. Тогда я убедил себя, что ее ответу помешал избыток чувств – наивный, наивный дурак.

Третья фотография – примерно из той поры: Мэри, подавшись вперед, к кухонному столу, смотрит вверх. Я тогда навис над ней с камерой и попросил улыбнуться. Улыбка вышла усталая – за ней стояли полтора года борьбы, измор сроком в восемнадцать месяцев. Ее голова была обернута платком, темно-синим в белую крапинку. Ей советовали носить парик, но она отказывалась. Кожа туго обтянула ее лицо и руки, как если бы Мэри постарела быстрее положенного. Наверное, примерно так она бы выглядела, доживи до тридцатой годовщины нашего брака. За ее спиной утреннее солнце

заползало на подоконник над раковиной, устлая его золотом.

Две недели спустя ее не стало. В последние два дня твердь буквально ушла у нас из-под ног; времени на то, чтобы отвезти ее в больницу, на койку в палату, где она и отошла, едва ли хватило. Что последовало за этим: бесконечные звонки знакомым, посещение похоронного бюро, поминки, похороны, прием гостей в доме. Все это походило на какую-то странную игру, в которую меня вовлекли, забыв известить о правилах. Хоть и не мне судить, думаю, я продержался достойно и все сделал правильно. И когда все было закончено, когда дверь за последним гостем закрылась, остались только я и винный шкаф, заполненный стараниями посетивших последнюю церемонию. Шкаф с рядами бутылок и коробками из-под обуви, в которых оказалось куда больше снимков, чем я ожидал.

Моя жена ушла, а я остался работать над тем, чтобы поскорее уйти следом за ней. В душе моей воцарились февральские холода. И вот однажды утром, открыв глаза, я понял, что хочу порыбачить. Хочу, чтобы вы поняли, насколько мысль эта была могущественна, — лежал я очень долго, ожидая, что она исчезнет, но в моей голове она сияла подобно ослепительной неоновой вывеске, и я решил, что лучше будет ей уступить. Почему бы, черт возьми, нет? Я сыскал относительно чистые рубашку и брюки, выловил ключи от машины со дна унитаза (даже не спрашивайте, как они туда

попали) и отправился на поиски рыболовных снастей.

Как вы уже догадались, я с трудом осознавал, что творю. От своего дома у подножия Френчмэн-Маунтин я поехал в город, в «Тысячу мелочей», – мне казалось, что уж в магазине хозяйственных принадлежностей мне точно улыбнется удача на снасти. Рад бы обвинить во всем выпивку, но нет, причиной всему была простая глупость. К счастью для меня, продавец оказался вежливым малым и не послал меня ловить бабочек в глуши, а указал на проход через главную улицу к магазину Кэлдора (так он назывался в те времена). Менее чем за двадцать долларов (я не помню, сколько потратил точно – хочется сказать, что двенадцать с половиной, но так ли это на самом деле?) я обзавелся удочкой с катушкой и мотком лески, чемоданчиком для переноски и сетью. Когда я сказал, что планирую провести за рыбалкой весь день, девушка-продавец настояла на том, чтобы я взял еще и шляпу.

– Мой отец рыбак, и старший брат тоже, – сказала она. – Я росла с ними бок о бок и тоже кое-что в рыбалке смыслю. Так вот поверьте – если и есть такая штука, без которой вы не сможете обойтись в этом деле, то это определенно хорошая шляпа.

Ее слова прозвучали убедительно. Купленный в тот день головной убор с символикой «Янки» я протаскал довольно долго – до одного памятного случая на Голландском ручье.

Еще она сказала мне, что неплохо бы повидать секретаря городского совета и купить лицензию, успокоения души ра-

ди; ну и посоветовала местечко на обочине Спрингвэйл-Роуд. Туда, на берег реки Сварткил, ее семья ходила рыбачить чаще всего. Я поблагодарил ее за всё и пошел следовать указаниям. Спрингвэйл – узкая дорога, что идет параллельно Тридцать второму шоссе, основному северо-южному маршруту как на въезд, так и на выезд из города. Первой своей частью дорога обнимает западный берег реки Сварткил – от нее берег всего в пятидесяти ярдах; и окаймляют реку клены и березы, нависшие прямо над водой. Нахваленное девушкой-продавщицей местечко располагалось на крутом пригорке – через дорогу там была конная ферма, а на другой стороне реки прекрасно просматривалось городское поле для гольфа. Два часа я просидел там в грязных брюках, мятой белой рубашке и бейсболке, размахивая удочкой на манер дикарской дубины и являя собой, надо полагать, то еще зрелище. Схватив первую попавшуюся на глаза приманку, очень правдоподобную, с тремя острыми крючьями, я забросил ее, но ничего не подцепил. С ней я упорно провозился недели две – наловив за все это время благодаря слепой удаче кучку хилых окуней, – пока какой-то седобородый старик, что пристроился поудить неподалеку, не сунул мне под нос пластиковый стаканчик, полный жирных дождевых червей.

– Ты накопишь таких же, сынок, – пробухтел он. – От них-то пользы всяко больше.

Да, я мало-помалу втягивался. Пусть тот первый заход и был бесплодным, даже без намека на клев, пусть я и проси-

дел пять часов, бездумно провожая взглядом ленивое течение, сносящее приманку куда-то прочь, пусть я и запутывал леску в ветвях растущих на пригорке деревьев добрую дюжину раз, пусть и потянул шею, пока эту самую леску выпутывал, я все равно вернулся на следующий день. И на следующий после следующего – тоже. И так далее.

К участку у Спрингвэйл-Роуд я подъезжал пораньше и уходил попозже. За рыбалкой день проходил незаметно. Когда свет дня окончательно мерк, я собирал свое снаряжение и ехал, но не домой, а в город, на перекус в паб «Уголок Пита». Там я быстро снискал репутацию постоянного клиента – официантки выучили и мое имя, и мои предпочтения, наловчившись приносить мое пиво («Хайнекен» в высоком стакане) даже раньше, чем я озвучивал заказ. И даже тогда, когда пошли рабочие дни, я обнаружил, что все еще могу выкроить пару часов на рыбалку в конце дня, если мне хватает ума заранее закинуть удочку в багажник машины. Примерно в то же время, как я уже упомянул, я переключился с приманки на червя, и под моей рукой удочка вдруг стала исполнять симфонии. В реке Сварткил, как я узнал, рыбы полно – окунь обычный, окунь солнечный, малоротый окунь, язь, сом и даже судак (этот монстр сломал мне удочку, прежде чем я успел выволочь его на берег). Так как я ничего не знал о чистке и приготовлении рыбы, я выпускал всякого речного жителя, что попадался мне на крючок, но это не имело значения.

Понимаю, все это очень смахивает на какую-то вдохновляющую журнальную статейку (заголовок: «Как рыбалка спасла мне жизнь»), но не тут-то было. Еще долго после того первого дня на реке, особенно когда осенний сезон рыбалки подошел к концу, я проводил ночи, наливаясь виски. Дом пребывал в беспорядке, и самой толковой едой для меня остались ежедневные перехваты в «Уголке Пита». Сидя на диване или лежа в постели с памятью о Мэри, я чувствовал себя совершенно разбитым – каждый новый день не уставал напоминать мне о том, что время потихоньку все сильнее и сильнее разделяет нас; рыбалка – не панацея.

Сидя у реки, я не чувствовал себя лучше, но мне хотя бы не становилось хуже. Там меня посещали чувства, успевшие позабыться с той поры, как объявили страшный диагноз Мэри: радость от чистой воды и свиста лески, кратковременное удовлетворение от славного улова... но в основном – спокойствие, почти *умиротворение* от созерцания горных пейзажей западного Нью-Джерси и вод, не устающих убегать прочь от моего пригорка куда-то к Гудзону. В те часы на Сварткиле я словно обретал второе дыхание – трудно сказать, что было бы со мной, если бы у меня и эту отраду отняли. Может, я бы и выжил. Но рыбалка позволяла мне не напиваться вдрызг на ночь, так как после посиделок у Пита час настаивал поздний, и к тому времени, как машина моя сворачивала на подъездную дорожку к дому, я чувствовал себя слишком утомленным для возлияний. И, хоть покои мои и сохранили беспо-

рядок, я выяснил, что если хоть чуть-чуть разбирать его, то некоторые нужные вещи – например ботинки – найти становится гораздо легче, то есть на рыбалку можно собраться быстрее. А еще я стал готовить себе бутерброды с салями, сыром и майонезом – еда не ахти какая, но все получше, чем питовы пиво и чипсы (которые, впрочем, тоже никуда из моей жизни не пропали).

Словом, хоть рыбалка и не была панацеей, в целом, думаю, она спасла мне жизнь. По секрету: в течение долгого времени я всерьез полагал, что к ней меня подтолкнуло нечто свыше, если понимаете, о чем я. Только так я мог объяснить себе, как занятие, ни капельки не цеплявшее меня раньше, стало вдруг таким насущным. Поначалу я грешил на случай – мол, наверное, будучи под хмелем, посмотрел какую-нибудь программу о рыбалке, на следующее утро, как водится, забыл, а потом воспоминание само всплыло в нужный час. Однако чем больше времени проходило, тем меньше такое объяснение устраивало меня. Все выходило как-то уж слишком хорошо, *подозрительно* хорошо – занятие столь прочно легло на душу, что на исходе зимы второго года я изнывал от желания найти хоть что-нибудь, что заполнило бы на время то занимаемое рыбалкой свято место. Не скажу, что пробовал себя в уйме изведанных человечеством хобби. Спорт не вдохновлял меня, я был горазд пофехтовать, не более того, – все прочие его виды оставляли меня равнодушным. До возвращения на пригорок у Спрингвэйл, в шляпе

и с удочкой в руках, я чувствовал себя лишенным чего-то очень важного. Общаясь с коллегами по работе, я узнал, что так случается далеко не со всеми увлеченными людьми: не все черпают из своих интересов, пусть даже и сильных, столь много умиротворения и забвения. Поверить в то, что на рыбалку я наткнулся случайно, было труднее, чем в то, что некто, знающий меня достаточно хорошо, чтобы понять, что такой досуг подойдет мне на все сто, привел меня к ней.

Конечно же, я имею в виду Мэри. Через несколько месяцев после ее смерти ничего из того, о чем люди болтают на дневных ток-шоу, я не испытывал. Я не видел ее, не слышал ее голоса, не ощущал фантомных прикосновений. Она была в моих снах, но и только; я ее не *чувствовал*. Однако был один интересный случай: ее сестра осталась у меня погостить на день и утверждала, что слышит голос Мэри, поющий песенку из ее детства, за кухонным окном. Когда она выбежала на улицу, двор, само собой, был пуст. Вообще, без видений о Мэри и призрачных чувств я вполне обходился – видит Бог, она настрадалась тут порядочно и заслужила покой, грех на такое жаловаться. В вопросах религии я был не особо подкован – меня крестили и воцерковляли как католика, но мои родители фанатичными верующими не были. В любом случае убеждать меня в чем-то стало делом зряшным после определенного возраста, но они и не пытались. Они остановились в определенной точке, я остановился в определенной точке – всё. Я никогда не задумывался о Господе, рае или

о чем-то таком. Мы с Мэри обручились в церкви, но только потому, что это было важно для нее. По той же причине я убедился, что ей отслужат похоронную мессу с ее любимым священником у алтаря. Когда она умирала, когда ее не стало, много людей, от близких родственников до едва знакомых сослуживцев, говорили со мной о религии, о вере. Они твердили, что мне это нужно, что вероучение поможет мне. Может, так оно и было... но меня просто не клонило в эту сторону, если вы понимаете, о чем я.

Однажды вечером мой двоюродный брат Джон, священник-иезуит, заехал ко мне с намерением провести ритуал инициации новообращенного... или как там он называется, его проводят, когда вы возвращаетесь в церковь. Я помню, как он говорил о смерти, спрашивая, не больно ли мне думать о том, что все заканчивается просто ничем, полным исчезновением нас из мира; разве не страшно мне твердить себе, что Мэри умерла – и все закончилось, что она ушла и я никогда больше ее не увижу? Я сказал Джону все как есть – что меня это не беспокоит. Она долго болела (по факту, весь наш брак), упорно боролась, и кем, в конце концов, был я, чтобы оспаривать ее право на покой? По правде говоря, идея отдохновения от всяких условностей мира мне нравилась. Она казалась намного приятнее и благотворнее понятий о Рае Божьем, где тебе суждено порхать в благоуханных рощах подобно какому-нибудь колибри-переростку.

На втором году рыбалки я стал мало-помалу задумывать-

ся. Слова двоюродного брата Джона запали мне в голову, а священники-иезуиты, в конце концов, люди умные, так ведь? Пищу для размышлений он мне подбросил еще ту. Все чаще я спрашивал себя, не могла ли Мэри не столько *уйти* из этого мира, сколько *углубиться* в него? Будучи погребенной в земле, не стала ли она частью этой земли, воды в земле, всего живого, что есть в земле? Может, в каком-то смысле она даже частично возвратилась ко мне.

С течением времени я усовершенствовал свое снаряжение – перешел от катушечной удочки к спортивному спиннингу (мультипликаторные катушки так и остались для меня чем-то непостижимым), а также освоил приманки. Я искал другие реки, другие ручьи, чтобы ловить в них рыбу. Хоть от Гудзона меня и отделяли двадцать минут езды на машине, я ни разу к нему не выбрался. С одной стороны, рыбы, хорошей и разной, там больше – вместо приехавшихся окуньков я мог ловить зубаток, форель и судака. С другой стороны, реки мне нравились больше своей компактностью, а Гудзон был чертовски велик. Рыбачить можно и в стоячей воде. Согласен, приятно порой скоротать пару часов в лодке, на плаву, но мне гораздо важнее оставить за собой возможность встать и размять ноги тогда, когда заблагорассудится.

Словом, стал я мало-помалу открывать мир горных озер Катскилла. Вообще, местность свою я знавал плоховато. Отец мой был родом из Спрингфилда – в его семействе намешалось порядочно разных кентуккийских кровей, а мама

и вообще приехала из Шотландии, из местечка под названием Сент-Эндрю, где поля для гольфа не экзотика, а часть привычного быта. Ей было на тот момент восемнадцать. С отцом они познакомились в Квинсе, а потом оба переехали в Покепси – там он нашел работу управляющим банка, и они поженились. Ни один из них не знал много о здешних краях, и особо к их пристальному изучению они и не стремились. Кроме того давнего дня, когда мы с Мэри гостили у брата ее подруги, я ни разу не был в горах. Свернув на запад по Двадцать восьмому шоссе из Уилтвика в одно прекрасное субботнее утро, я, по сути, отправился в неизведанные края.

С самого начала мне там очень понравилось. Я не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в Катскилльских горах. Если смотреть на них со стоянки у магазинчика Кэлдора (того, что потом стал магазинчиком Эймса, а еще позже – универсамом «Стоп-энд-Стоп»), то они всегда лично мне казались таким стадом гигантских животных, пасущихся на горизонте. Вблизи же, когда едешь среди них в свете раннего утра, что пробивается над закругленными высями, горы кажутся невероятно настоящими, даже более реальными, чем что бы то ни было. Вид этих каменных нагромождений с повязанным на манер шарфа редколесьем захватывает дух. Удержать глаза на дороге невозможно – пусть вы и рискуете столкнуться с каким-нибудь таким же туристом выходного дня, вы все равно будете смотреть во все глаза на ближайший пик, с одной, заросшей стороны, представляющий перед вами огромным

кустом, а с другой – невообразимым каменным великаном. Петляя по ответвлениям дорог, вы то и дело проезжаете луга и старые дома – местечки уединенные, тишина там царит такая, что заслушаешься.

Именно о тишине я чаще всего и думал в тех местах. Рыбача далеко на западе, в городке под названием Оненота, и еще дальше на севере, в Катскиллских горах, вытаскивая рыбу из горных потоков, что протекают между этими городами и Уилтвиком, стоя в лучах субботнего утреннего солнца и наблюдая за водой, низвергающейся маленькими водопадами в скромные заводи, забрасывая блесну о трех крюках и выжидая, когда задумчивые тени мельтешащих рыб соберутся и решат, клевать или не клевать, я внимал этому всеобщему волшебному затишью. Я все еще мог слышать, как смеется вода, как птицы перекрикиваются о чем-то друг с другом, порой даже улавливал далекий рокот машин, но за всем этим проступал еще один звук, тихий, но господствующий над всеми ними. Словно попав в другое измерение, я вслушивался в него... и мне почти казалось, что я слышу Мэри. Она ничего не говорила, не издавала ни шороха, но я все равно ее слышал. Я не мог сказать, была ли она в таком состоянии счастлива или грустна, потому что движущиеся тени форелей быстро возвращали меня в привычный мир, и я остервенело сматывал леску, ожидая, когда начнется борьба за добычу, и в предвкушении напрягая руки. Может быть, в другой ситуации и в другой обстановке я бы чувствовал

себя по-другому – мурашки по всему телу, сухость во рту и все такое прочее. Однако, сражаясь с очередной форелью, заглотившей наживку, я ничего не мог поделать с этим царством тишины – лишь признать его, как и тот факт, что Мэри пребывала где-то в нем, за гранью. Позже, укладывая улов на бережок и закусывая победу шоколадной плиткой, я думал о том, что же на самом деле творится в сердце этой безбрежной тишины.

Но даже тогда я не испытывал особого страха. Мир всегда казался мне довольно-таки большим местом, в котором так много всего, что не под силу изведать в одиночку, даже потратив всю жизнь. Я-то хотя бы это понимал. Когда Мэри умерла, я не верил в то, что после нее что-то останется... и, возможно, я ошибался. Черт возьми, да я бы с радостью признал ошибку – кто бы на моем месте поступил иначе? Ее тихое присутствие на рыбалке не казалось мне чем-то угрожающим – с чего бы вдруг? В этой жизни у нас все было хорошо, и, может статься, она скучала по мне точно так же, как я скучал по ней, и хотела посмотреть, как у меня дела. Я не стал бы утверждать наверняка, что чувствовал ее там, рядом со мной, на всех тех реках и ручьях. Не могу сказать, что она всегда присутствовала, когда я сидел в определенном месте или в определенный день. Но чаще всего это случалось в горах. Она была со мной, когда я пробирался по Эсопус-Крик – вернее, по его быстротечному витку, название которого я пообещал себе узнать позже, да так и не

узнал. Она была со мной однажды днем, когда я вернулся на насиженное местечко в Спрингвэйле и застал каких-то двух старушек-удильщиц на раскладных стульчиках. Не могу сказать, что она преследовала меня – уж слишком много в этом словце регулярности, коей в моем случае не было и в помине. Но порой, по случаю, Мэри меня посещала.

Ступени на лестнице утраты

Знаете, а ведь обо всём этом я могу твердить до конца дня – и этого, и завтрашнего в придачу. Уж простите – когда вспоминаю, чем рыбалка для меня была, почти забываю о том, чем она в итоге стала, потому и не тороплюсь идти вперед. Хорошее это дело – смотреть на те деньки, когда я не проводил большую часть времени у реки, гадая о том, что из всего сокрытого в толще ее вод может вот-вот восстать из глубин по мою душу. Тогда-то я еще не задавался такими вопросами, да и разум мой не был полон пугающих образов, что могли выступить в роли ответов. Стая огромных головастика, каждый – с одним-единственным глазом, рыба с огромным, как драконье крыло, плавником, с торчащими наружу клыками, бледный пловец с перепонками меж пальцев рук и ног и лицом, чьи черты колеблются всякий раз, когда вглядываешься в них... Все это и многое другое услужливо всплывало из омутов памяти, заставляя ладони покрываться испариной, а сердце – безумно прыгать в груди. Но сейчас важнее всего то, что вы понимаете, какое место занимала рыбалка в моей жизни. Используя это знание, мне проще объяснить, почему я стал заручаться компанией Дэна Дрешера.

Я знал его по работе: его место – в двух дверях от кулера

с водой. Высокий парень: это было первое, что я подумал, когда он пришел ко мне, и, полагаю, моя реакция была типичной. Дэн был шести футов семи дюймов ростом, худой как палочник. Его шевелюра – столь же приметная, сколь рост: волосы ярко-рыжие, будто бы никогда не знавшие расчески; не уверен даже, бывал ли этот парень хоть раз в парикмахерской. Лицо его было настолько острым, что на ум сразу шла резьба по граниту: острый лоб, большой острый нос, круглый, но при том все-таки острый подбородок. Он много улыбался, и глаза его всегда лучились добротой, что сглаживало всю эту повальную остроту его черт, но, если судить по внешности, казалось, его облик просто создан для проявления ярости.

Поначалу мы с Дэном общались мало, пусть и на дружеских тонах. Ничего необычного – я был на добрых два десятка лет старше его, вдовец не первой молодости, чьими любимыми темами для разговора были рыбалка и бейсбол. Он же был еще юн – свежеиспеченный выпускник Массачусетского технологического института, любитель дорогих костюмов, его женой и двумя сынишками-близнецами восхищались все. Со смерти Мэри минуло достаточно много времени, дабы семейные фотографии в рамочках, выставленные Дэном на свой стол, не повергали меня в панику. В последние несколько лет у меня были какие-то бледные намеки на отношения, но всерьез дело не пошло – я был не готов. За несколько месяцев до того, как мы поженились – как раз то-

гда, когда мы планировали торжественный прием, – Мэри повернулась ко мне и сказала: «Абрахам Сэмюэлсон, ты самый романтичный человек из всех, кого я знаю». Я не помню, каким был мой ответ – скорее всего, я обратил все в шутку. Возможно, она была права, возможно, во мне было больше романтики, чем я думал. Как бы то ни было, я был один, а у Дэна была его семья, и в то время это казалось непреодолимым разрывом между нами.

Затем, в один ненастный день (память мне подсказывает, что то был вторник), Дэн не пришел на работу. Само по себе это было не так уж важно, если не принимать во внимание тот факт, что Дэн не позвонил и не предупредил об этом. Вот это уж, это-то всех и удивило – Дэн заслужил репутацию особо добросовестного работника. Приходил он не позднее восьми двадцати, на десять минут раньше всех остальных, в обеденное время отлучался не более чем на пятнадцать минут (это в те дни, когда не перекусывал наспех прямо за работой), отбывал домой тоже позже всех – уходя толпой в четыре тридцать, мы махали ему на прощание, зная, что он проторчит за столом еще хотя бы полчаса. Он был предан своему делу – притом достаточно талантлив, талантлив настолько, что преданность эта ценилась. Я предполагал, что у него были свои взгляды на раннее и быстрое продвижение по службе – подобное рвение, учитывая двоих детей, я вполне мог оценить. Обо всем этом я рассказываю единственно для того, чтобы объяснить, почему в тот день, когда Дэн не пришел,

все мы ощутили легкую тревогу.

Как мы узнали на следующий день, у нас были все основания для беспокойства. Кто-то прочитал новость за утренним кофе, на первой странице «Покепси ньюс», кто-то узнал из уст Фрэнка Блока. Фрэнк был членом добровольной пожарной бригады, и его отсутствие в тот день никто почему-то не связал с Дэном. Одним словом, произошло несчастье.

Дэн поднимался рано, как и близняшки. Порой его жена Софи оставалась в кровати подольше, но в тот день по какой-то причине они встали все вместе. Время было раннее, немногим позже шести утра, и Дэн предложил всей семье заскочить в город и перекусить где-нибудь, перед тем как он отправится на работу. Идея пришлась супругам по душе, так что они усадили детишек в специальные креслица и выехали на машине. У Дэна не получилось пристегнуть ремень безопасности, и Софи обратила на это внимание, но он лишь отмахнулся – мол, дорога недолгая, ничего страшного с ним не случится.

– На твой собственный страх и риск, – строго сказала тогда Софи.

Дрешеры жили у Южной Моррис-Роуд. Эта дорога пересекает Шоссе 299, главную трассу, примерно в трех милях к востоку от города. Шоссе 299 – скоростная трасса... По крайней мере была таковой все то время, что я прожил по эту сторону Гудзона. В месте пересечения с Моррис-Роуд, конечно, надобно было быть светофору, а не паре стоп-сиг-

налов – хотя, может статься, особого значения это не имело. Может статься, парень, управлявший большим белым восемнадцатиколесником, все равно не успел бы затормозить, гоня на своих семидесяти километрах в час. Дэн сказал, что видел, как грузовик надвигался справа – при повороте налево на 299, – но даже не успел понять, что тот движется *настолько* быстро. И, представьте себе, этот Большой Белый Кит врзался в его «субару» на полном ходу – поразил подобно молнии. Дэна катапультировало на дорогу через лобовое стекло – только благодаря этому он, как оказалось, и выжил. Высекая мириады искр и разбрасывая зазубренные осколки металла, расплющенные друг об друга грузовик и легковушка прокатились еще несколько метров вперед, и еще до того, как их движение прекратилось, «субару» превратился в шар из пламени. Буквально секунду спустя рванули топливные баки грузовика. Когда первый полицейский автомобиль прибыл на место, было уже слишком поздно. Я полагаю, что было слишком поздно уже тогда, когда нога Дэна вжала акселератор и машина вылетела на дорогу. Может быть, слишком поздно стало в тот момент, когда недалекий тип за рулем восемнадцатиколесника глянул на наручные часы, понял, что не успевает с утренней доставкой по расписанию и, решив сэкономить время и увеличить скорость, дал по газам. Огонь забрал его жизнь – хотел бы я сказать, что мне было его хоть чуть-чуть жалко, да, увы, не могу. Софи и близнецы тоже погибли. Два дня спустя коронер сказал Дэну, что, по всей

вероятности, его жена и дети были убиты одним лишь столкновением и не сильно-то и мучились, когда пламя накинулось на них, если мучились вообще. Наверное, он думал, что таким образом хоть как-то утешит его.

Дэн был достаточно вежлив с тем коронером, но, думаю, причиной тому была пелена шока, в которой он все еще пребывал, когда коп подобрал его, спотыкающегося поминутно, на обочине дороги. Лицо Дэна алело от крови, как и толстовка, которую он надел с утра. Сначала офицер даже не был уверен в том, кто этот высокий парень. Когда он подвел Дэна к одной из машин скорой помощи, прибывших быстро, но уже все равно бесполезных, то предположил, что Дэн – всего лишь свидетель, застигнутый аварией, ранняя пташка-бегун, схлопотавший удар какой-нибудь отлетевшей в результате столкновения железкой. Ему потребовалось некоторое время, чтобы разобраться и понять, что мужчина перед ним – водитель автомобиля, превратившегося в кучу смятого полыхающего металла. Смекнув, коп попытался допросить Дэна, но внятного рассказа о случившемся от него, само собой, не добился. В конце концов один из прибывших на место парамедиков сказал копу, что Дэн, скорее всего, в тяжелейшем шоке – а в таком состоянии человеку прямая дорога в больницу.

Пожар на дороге не унимался почти час, потребовалось три пожарных расчета, чтобы совладать с ним. Едущие из города и в город машины то и дело вставали, водители гла-

зели на место аварии, и так вплоть до самого разгара дня. Две недели спустя на том перекрестке установили светофор; перемена стоимостью ровно в четыре человеческие жизни. Такие вот в наши дни расценки. Дрешерам он был уже ни к чему – разве что как памятник.

Прошло целых шесть недель, прежде чем Дэн снова явился перед нами. Поминки для Софи и близнецов прошли в городской методистской церкви – скромные, только для самых близких родственников. К тому времени как я пришел на работу в одно утро понедельника и прошмыгнул мимо стола Дэна, память о его трагедии изрядно поблекла – стыдно признать. Хотел бы я сказать, что виной тому завал в делах или какие-то разительные перемены в моей собственной жизни, не важно, к лучшему или к худшему, вот только правдой тому не быть. Долгое время хранить у сердца трагедии, что не касаются тебя лично, трудно – такую истину я усвоил после смерти Мэри. В краткосрочной перспективе люди вполне способны проявить к вам сострадание, но пройдет пара недель – и с вами будут обращаться точно так же, как и раньше, безо всяких скидок на происшедшее.

Дэн вернулся на работу со шрамом, оставшимся после удара о рассыпающееся лобовое стекло. Так к его выдающемуся росту и рыжей шевелюре добавилась третья отличительная черта. Начинаясь от линии роста волос (их Дэн стал отпускать подлиннее), шрам сбегал вниз по правой стороне лица, огибал правый глаз, стрелой вонзался в угол рта и от-

туда переходил на шею, исчезая где-то за краем воротника рубашки. Все старались не глазеть на него в открытую, но выходило плохо, сами понимаете. Как будто по этой линии проходила какая-то застежка, на которой все лицо Дэна и держалось. Мне шрам напоминал о тех временах, когда отец брал меня с собой на прогулки по территории колледжа Пенроуза, когда я был мелким пацаненком, такое частенько бывало. В обязательном порядке отец останавливался всякий раз у пораженного молнией дерева и указывал мне на него. Оно было не из тех, которым разряд обламывал пару-тройку веток – то был настоящий живой громоотвод, он притягивал удары к своей кроне и пропускал ток по всей длине ствола, до самых корней. Случалось это, по-видимому, столь часто, что след от молнии намертво отпечатался в коре, прорезав извилистую линию, по которой отец всякий раз проводил пальцем, говоря:

– Знаешь, древние греки хоронили убитых молнией людей отдельно от всех остальных. Они были уверены, что опыт такой смерти своего рода священен... Вот только не могли определить, хорошо это или плохо.

– Как что-то священное может быть плохим? – спрашивал я, но единственным ответом мне всегда служила легкая дрожь, пробегавшая по его шее, когда он касался пальцами той борозды, по которой некогда стекала река белого электрического огня.

Все мы делали все возможное, чтобы Дэн освоился на ра-

боте; тем не менее прошел не один месяц, прежде чем мне пришла в голову мысль пригласить его на рыбалку вместе со мной. Вы, наверное, думаете, что я одним из первых заговорил с ним, но это не так. До поры до времени я старался избегать его. Знаю, как это звучит: если не бессердечно, то по меньшей мере странно. Кто, как не я, лучше всех подходил на роль понимающего советчика и утешителя – ведь мы оба потеряли своих жен, не так ли?

Ну да, так оно и было. Вот только все люди счастливы одинаково и несчастны по-разному. Утрата близкого человека – это не что-то, сделанное под штамповку, и трагедии в нашей жизни до ужаса разнообразны. Утрата – она как лестница, количество ступеней в коей вам не дано знать; вы стоите на ее вершине, а она все тянется вниз, и с каждым новым шагом по ней вы что-то теряете – работу, дом, смысл жизни, родителей, любимого человека, детей. На какой-то ступеньке вы теряете саму жизнь – и, как я вскорости уверовал, спускаетесь куда-то еще ниже, еще глубже. В этой ужасной иерархии то, что я претерпел, – медленный уход жены, растянувшийся почти на два года, – стояло намного выше того, что перенес Дэн, выше потери жены и детей почти в мгновение ока. Точно так же человек, который в жизни вообще ничего не терял, стоял намного выше меня. У нас с Мэри все-таки было время, и пусть даже многое из того времени омрачалось тем, что смерть неотвратимо подступала к ней, мы, по крайней мере, смогли насладиться теми оставшимися месяцами,

отправиться в Вайоминг до того, как болезнь окончательно приковала ее к кровати, выудить нечто хорошее из плохого. Можете себе представить, сколь сильно кто-то в положении Дэна мог завидовать мне... или даже ненавидеть меня за то, что у меня было, даже сильнее, чем кого-то, чья жена жила себе и жила. Я мог себе представить эту ненависть, потому сохранял почтительную дистанцию.

Кроме того, в своем поведении Дэн мало изменился. Он не расплылся в студень, как я. Конечно, бывали дни, когда его рубашка была той же, в которой мы видели его вчера, или костюм его был помят, или галстук висел криво, но в нашей конторе было порядком одиноких мужчин, в чей вид вкрадывались порой подобные детали, так что таким удивить кого-то из наших не удавалось. Помимо шрама и немного более длинных волос, единственное изменение, которое я видел в Дэне, сказывалось в его взгляде на остальных. То был куда более сосредоточенный взгляд, требовавший бóльшей концентрации, чем обычно. Брови чуть опущены, глаза горят так, будто он пытается смотреть скорее *сквозь* то, что перед ним, чем на то, что перед ним. Во взгляде этом крылось нечто озлобленное – некие зачатки ярости, что иногда давали о себе знать в выражении его лица, – и если взгляд этот останавливался на мне, становилось как-то неуютно. Хоть его манеры и остались безупречными – Дэн всегда предпочитал говорить с людьми вежливо, оставляя о себе благоприятное впечатление, – под этим взглядом я неизменно чув-

ствовал себя одним из героев того фильма про побег из Алькатраса, на которого ложится луч прожектора со смотровой вышки.

Когда наконец я позвал Дэна порыбачить со мной, я действовал скорее в порыве. Я стоял тогда в дверях кабинета Фрэнка Блока и рассказывал ему о том, как подсекал форель в минувшие выходные. Форель была не из самых больших, попадались мне экземпляры и куда крупнее, но силушкой природа ее не обделила, это уж точно. Ситуация с ней была осложнена еще и тем фактом, что, когда она начала клевать, я отошел за кустик отлить. Леска до поры была неподвижной, и я решил, что ничего не случится, если зажать удочку между футляром и бревном и отлучиться ненадолго по делам насущным. Как назло именно в этот момент рыбина решила проглотить наживку и рвануть прочь – яростно зажужжала катушка, удочка свистнула в воздухе и плюхнулась в воду. Я наспех выскочил из кустов, не успев должным образом застегнуться, и нырнул следом за ней. Поймать-то поймал, еле еле ухватил – вот только штаны мои возьми да и спади до самых лодыжек. В таком первозданном виде я и стал подсекать рыбину – и вытащил-таки на берег, и залюбовался хорошим уловом; мой рыбачий азарт развеялся лишь тогда, когда до слуха моего долетели чьи-то смешки. Оказалось, на другой стороне реки стояли две девчонки – одна с биноклем, другая с фотоаппаратом. Обе показывали в мою сторону и смеялись. Я сразу пожалел, что родился на свет.

– И что же ты сделал? – спросил Фрэнк, покатываясь со смеху.

– А что мне оставалось? – пожал плечами я. – Поклонился им обеим, повернулся и поплелся обратно в кусты.

– Так ты у нас рыбак? – вдруг спросил меня Дэн, неожиданно подкравшись сзади. Я, надо думать, почувствовал его приближение загодя – только потому и не взвился в воздух, голоса благим матом.

– Ну да, есть такое, – ответил я ему, повернувшись. – Я на рыбалке почти каждый день, когда не идет дождь, а порой и под дождем удило закидываю.

– Я раньше тоже рыбачил, – сказал Дэн. – Мой отец брал меня с собой.

– Ну и как тебе? – поинтересовался я.

– Ничего особенного. Навидался озер да прудов.

– Удавалось поймать кого-нибудь? – спросил Фрэнк. Он был из числа тех парней, что любят говорить о рыбалке больше, чем саму рыбалку.

– Иногда. – Дэн пожал плечами. – Окуней случалось вытаскивать, солнечных в том числе. Однажды мой отец поймал щуку.

– Нехило, – оценил я. – Щука – рыба не из простых, ее поди вытащи.

– И не говори, – подтвердил Фрэнк.

– Мы весь день с ней провозились, – сказал Дэн. – Когда погрузили ее в лодку, она оказалась почти три фута длиной.

Настоящий рекорд для того озера. Это было в штате Мэн. Мой отец спровадил рыбину капитану Питу – так звали мужика, что держал лавку приманок и снастей на озере. У него-то мы и купили наживку, на которую щука клюнула. И содовой всегда у него затаривались. У него был большой холодильник с банками содовой. Его та щука так впечатлила, что он снес ее таксидермисту и чучело повесил на стену в лавке. Под ней сделал табличку – с именем моего отца и датой вылова.

– Здорово, – сказал Фрэнк. Не знаю, относилось ли это к истории Дэна или к тому, что он вообще с нами заговорил. Насколько нам было известно, наш разговор был самым продолжительным из всех, в которых Дэн непосредственно участвовал с поры аварии.

И я спросил:

– А когда ты последний раз рыбачил?

– Годы и годы назад, – ответил он. – Еще до того, как родились близнецы.

Фрэнк устался на свой стол. Я проглотил комок в горле... и выпалил:

– Хочешь пойти со мной?

– На рыбалку? – уточнил Дэн.

– Ну да.

– Когда?

– Как насчет этих выходных? Скажем, в субботу утром?

Если у тебя нет планов...

Он нахмурился – видимо, решил, что я над ним подтруниваю.

– Не знаю.

Для меня вдруг стало жизненно важно затащить его с собой. Не могу точно сказать, что мною двигало. Может, я хотел доказать ему свою искренность. Может быть, я думал, что рыбалка сделает для него то, что сделала для меня. Хотя, как я уже сказал, у меня не было достаточных доказательств того, что жизнь Дэна, подобно моей, пошла под откос. Или, быть может, мой мотив был не столь четок – мне, возможно, просто хотелось перекинуться с чьей-нибудь живой душой парой-тройкой словечек, подцепляя к крючку свежую приманку. Не знаю. До того дня я прекрасно управлялся с ловлей рыбы исключительно своими силами. Но тут по какой-то причине сказал:

– Почему бы и нет? У меня есть удочка-запаска, если тебе нужна, да и снастей на нас двоих хватит. Я планировал засесть на Сварткил – это не так уж и далеко отсюда, так что, если тебе не понравится, ты всегда сможешь уйти. Я выхожу с утра пораньше, мне так больше по душе, но сижу до самого захода солнца, так что можешь подъехать в любое удобное время. Что скажешь?

Нахмурившись, Дэн задумался... а потом улыбка осветила его лицо.

– Черт возьми, – сказал он, – почему бы и нет?

Вот так вот мы с Дэном Дрешером начали удить рыбу вме-

сте. Мы забились встретиться на Спрингвэйле, и он прибыл даже раньше меня – я только-только подъехал, и из сумрака предрассветных часов свет фар уже выхватил его долговязую фигуру. Удочка у него была с собой – новенькая и блестящая, явно купленная на днях. Что ж, прекрасно. Так он напоминал меня – образца тех давних лет. На голове у Дэна красовалась шляпа ковбойского кроя – как я позже узнал, ею он разжился, отдыхая в Аризоне вместе с женой. Взяв наживки, мы подцепили ее на крючки, забросили в воду, и когда солнце восстало из-за чащи прямо перед нашими глазами, мы уже готовили скорый завтрак.

В то самое первое утро (правильнее сказать – в самый первый день, так как просидели мы порядочно, солнце успело взойти в зенит и опуститься за наши спины, к горизонту) мы особо не разговаривали. Да и на следующий день болтовни не было. Я не думал, что встречу его на том же месте – насколько я помнил, к концу предыдущего дня он просто тихо поблагодарил меня за проведенное вместе время, собрался и был таков. Но он был там – когда я остановил машину на обочине, то заметил его на пеньке с футляром для удочки на коленях. Никак не объяснившись, он кивнул мне, когда я подошел, и произнес:

– Доброе утро. Прогноз погоды обещает на сегодня дождь.

– Дождь рыбалке не помеха, – отмахнулся я.

Он хмыкнул и больше не проронил ни звука. В следующие выходные мы снова торчали на Сварткиле, не без удачного

улова. Вечером воскресенья, когда мы укладывали удочки, я обратился к нему:

– Я подумываю отправиться вверх по Эсопус-Крик в следующую субботу. Это не особо далеко – минут сорок езды. Ты со мной?

– Да, – сказал Дэн.

– Отлично.

Таким образом, в следующие выходные мы закидывали удочки на Эсопус-Крик. Потом я потянул его в Катскиллские горы, к ручью Биверкил, что на горе Тремпер. В воскресенье вечером, по пути домой, мы остановились в бургерной Винчелла – тоже на Двадцать восьмом шоссе, только по другую сторону от Вудстока. Именно там я узнал, что семья Дэна родом из Финикии, города в самом сердце гор, и что он знает эту область и ее историю довольно-таки хорошо. Но он никогда не рыбачил там. Фактически он не был тут с тех самых пор, как Софи была беременна – с тех самых пор, как он возил ее по Двадцать восьмому, чтобы показать те места, где он вырос.

Всегда сложно говорить о ком-то, кого потерял совсем недавно. Никогда нельзя быть уверенным, что сказать в ответ – просто потому, что не всегда понятно, делает ли человек мимолетную ремарку о своей утрате или же настроен поговорить о ней всерьез. Думаю, точно так же люди чувствовали себя в разговорах со мной после смерти Мэри. Между мной и Дэном не водилось ни долгой дружбы, ни глубо-

кой семейной связи, которая могла бы простить ошибки в общении, допущенные, когда вы из кожи вон лезете, чтобы хоть как-то друга или родственника поддержать. Впрочем, Софи Дэн упоминал в моем присутствии уже не первый раз – в каждый наш совместный выход что-то такое да бывало, именно поэтому я рискнул и спросил:

– И как ей понравилась Финикия?

– Кому – ей? – переспросил он.

– Твоей жене, – сказал я, чувствуя, что вступил на точку невозврата. – Софи. Какое на нее впечатление произвели твои родные места?

Лицо Дэна на мгновение исказилось – выражение неверия и боли застыло на нем, будто я без спросу запустил руку в личный архив его воспоминаний. Затем, к моему удивлению, он ухмыльнулся и выдал:

– Она сказала, что теперь понимает меня и моих жлобов намного лучше.

Я улыбнулся в ответ. Худшее осталось позади. За остаток лета и начало осени, когда мы бродили по Катскиллским горам и выискивали самостоятельно ручьи в попытке расширить ареал рыбных местечек, я кое-что да узнал о жене Дэна и о его семье в целом. Он никогда не говорил много. Не верю, что он когда-либо был человеком, который любит слишком много распространяться о себе. Как вы, возможно, заметили, такой порядок вещей меня всегда устраивал, но, как только я почувствовал, что Дэн реагирует спокойно, разго-

воры о жизни перестали быть волнительными. Конечно, жите мое не из самых интересных, но все-таки кое-что на своем веку я повидал. Я рассказывал ему о Мэри – не о ее смерти, конечно. Если и была одна тема, которая оставалась однозначно закрытой, так это была тема наших с ним утрат. Это несколько усложняло дело, так как, я уже говорил, болела Мэри на протяжении всего нашего короткого брака. Я решил эту проблему, рассказывая о том, как все было до нашей женитьбы... и пока говорил, продолжал чувствовать ее случайные призрачные визиты ко мне – и это при том, что я сидел почти вплотную к Дэну! Я не знал, смогу ли я привыкнуть к ее посещениям, но странным образом они почти что утешали меня.

Сознательно или нет, Дэн следовал моему примеру, по большей части рассказывая мне о начале своих отношений с Софи. Возможно, так эти события казались достаточно давними – было легче убедить себя, что боль в груди вызвана ностальгией, не более. Он никогда не заговаривал о близнецах, Джейсоне и Джонасе, и, честно говоря, я был благодарен ему за это. Мэри очень хотела завести детей, и мысль о том, что она покидает этот мир, не оставив ни одного своего маленького подобия, подкашивала ее еще сильнее. Мы с ней часто говорили о детях – вплоть до утра того дня, когда она умерла, и после ее смерти я вдруг стал замечать за собой, что мне тяжело смотреть на юных племянниц и племянников Мэри на семейных мероприятиях, на которые меня

по инерции продолжали приглашать. Видя их – видя *любого* маленького ребенка, – я вспоминал о том, что у нас с Мэри не было того, о чем мы мечтали, и боль в душе росла, подобно выжженному пятну под увеличительным стеклом в солнечный день. Груз лет подавил эти чувства, мне стало легче мириться с присутствием малышни... но, как оказалось, достаточно одного разговора, чтобы они явились снова – все такие же сильные, неугасимые.

Тем не менее мне нравилось верить, что любой небольшой дискомфорт, который я, возможно, испытывал, стоит того, что наши беседы помогают Дэну. На самом деле, когда сезон рыбной ловли закончился осенью, я немного волновался за него. Мне самому еще только предстояло найти замену рыбалке – как понимаете, я не определился с хобби на зиму по сей день, – и, помимо того, я все еще не мог с легкой душой сказать Дэну: *ну все, рыбалка нам пока что не светит, давай-ка попрактикуемся в керлинге*. Может быть, с учетом всего того времени, что мы провели вместе, это и было странно с моей стороны, испытывать такие заминки, но куда от этого было не деться, и я не решался просто так вытащить Дэна на выходные поболтать. Глупо, да. В любом случае за него взялись родной брат и семья Софи, решив, что оставлять его без опеки на праздники нельзя. Так что в рождественский сочельник он всяко не был одинок.

Хоть я и видел Дэна на работе каждый день и даже заговаривал с ним от случая к случаю, только в конце февраля

следующего года я осмелился пригласить его к себе в гости. Несмотря на малое количество дней, февраль всегда поражал меня своей мрачностью – по меньшей мере, в здешних местах. Он не самый темный в году, безусловно; не самый стылый и не холодный, но довлеет над ним некая безотрадная серость – иначе не могу объяснить. Это месяц, когда все самые значимые и самые радостные праздники остались позади, а до Пасхи и весны еще долгие и долгие недели. Малым спасением февралю служит День святого Валентина в самой его середине, но даже тогда, когда у меня еще был повод праздновать его, я все еще думал о втором месяце года как о безрадостном времени. Наверное, то была одна из причин, по которой я пригласил Дэна в гости – и по которой, открыв тем воскресным вечером ему дверь, я застал его небритым, чумазым, обряженным в старый спортивный костюм, пропахший нафталином и кладовой сыростью. И знаете, я мог бы удивиться – еще в пятницу Дэн щеголял своей традиционной безупречностью, – но не удивился, нет. Глядя на стоящего в дверном проеме Дэна, с глазами столь красными, воспаленными, что они тут же вызвали воспоминание об уэллсовском спящем, который проснулся, я просто подумал: всему виной февраль.

Говорят, для большинства людей второй год после утраты сложнее первого. В первый год вы все еще пребываете в шоке. Вы не верите в то, что произошло, не решаетесь поверить. А потом – старательно делаете вид, что умерший близкий

(сразу несколько близких, в случае Дэна) просто уехал в гости и покамест не торопится возвращаться. Со мной такого не было, но, думаю, единственно потому, что наше расставание с Мэри растянулось во времени и все эти трюки мне были в общем-то ни к чему. Но с Дэном все случилось именно так. Он, с гордо поднятой головой, прошел через День благодарения, Рождество, Новый год, сделал все возможное, чтобы стать хорошим хозяином для уймы навещающих его родственников, но как только последний из них, двоюродный брат из Огайо, отбыл, как только стало ясно, что в ближайшем будущем больше никто не придет, фасад рассыпался. Осознание того, что отныне он одинок, раздавило Дэна, подобно сгруженной с самосвала гряде кирпичей. До того он не мучился особо бессонницей, отвлекал себя просмотром старых фильмов на любимом видеомagneтoфoнe... Но теперь ему только и виделся тот огромный белый грузовик с восемнадцатью колесами, мчащийся навстречу и ухмыляющийся зубастой хромированной решеткой радиатора, готовый откусить от его жизни такой огромный кусок, что Дэн никогда не оправится. Когда он пытался посмотреть телевизор – кассетную запись «Багровых рек» к примеру, или одно из поздних ночных ток-шоу, – картинка на экране всякий раз сменялась Софи, отвернувшейся от него, чтобы посмотреть на ревущий восемнадцатиколесник, и последнее выражение ее лица сменялось с легкой утренней утомленности на животный ужас. Ее губы раскрывались, чтобы произнести какие-то

слова, но Дэну не суждено было их услышать.

Он рассказал мне об этом, пока мы ужинали спагетти с фрикадельками, чесночным хлебом и салатом, – в ответ на мой вопрос о самочувствии. Я не перебивал его, лишь изредка вворачивая какое-нибудь «угу». Никогда мы с ним так долго не говорили; никогда он не рассказывал так много о своей потере. Иногда он останавливался, дабы съесть что-нибудь, и за все время осушил четыре полных стакана красного вина, бутылку с которым я поставил на стол. Этого ему хватило, чтобы начать пошатываться и сонно прикрывать веки. Когда рассказ его вроде бы подошел к концу, я тихо произнес:

– Не пойми меня неправильно, но, может быть, тебе стоит обговорить это все с кем-то... ну... более компетентным. С врачом. Вдруг поможет.

– Не обижайся, Абрахам... Эйб, – ответил он дрогнувшим голосом. – Хочешь знать, что реально помогает? Я скажу. Примерно в четыре утра, когда я лежу в постели, сна у меня ни в одном глазу, а на потолке надо мной что-то вроде киноэкрана, на котором раз за разом прокручивается та авария. И я встаю, вытаскиваю себя из кровати часа на полтора пораньше, кое-как одеваюсь, делаю себе чашку кофе на посошок – не могу пропустить свою утреннюю чашку, понимаешь ли, – и иду к машине. Выезжаю на угол Моррис-Роуд и Шоссе 299, ищу себе местечко на обочине, а места там хватает, сам знаешь, и сижу, тяну кофе из термоса. Там сейчас

светофор – ты видел?

– Да, – сказал я, – видел.

– Еще бы ты его не видел. Все видели. То самое место, где семья Дрешер – некогда счастливое семейство Дэниела Энтони Дрешера – лишилась сразу трех своих членов. Я сижу там, на этом самом историческом месте, пью остывающий кофе и смотрю на этот светофор. Пристально смотрю, изучаю прямо-таки. Смотрю, как красный сменяется сначала желтым, потом зеленым. Мне наплевать, тепло ли снаружи, холодно – я опускаю окно и слушаю его. Ты ведь знаешь, что каждая лампочка в нем жужжит по-своему? Жужжит, жужжит, а потом – «кланк», и цвет меняется. Обычно на светофорах самый длинный сигнал – красный. А на этом вот дольше остальных горит зеленый – я знаю, я рассчитал время. И еще они жужжат и кланкают, эти лампы – звуки такие, будто тюремные ворота открываются и закрываются. Вот о чем я думаю, Эйб. О воротах тюрьмы. Они сначала открываются... потом закрываются... и так раз за разом. И знаешь... я сказал, что сидеть там мне помогает, но ни черта оно не так. Я не могу выудить из этого опыта ничего хорошего. Тот перекресток – просто еще одно место, которого я не могу избежать. Это мой личный ад, понимаешь? Ничего не помогает. Последнее время в моей голове бродят странные мысли. Когда я смотрю на что-то – на вещи, на людей, – мне кажется, что все они нереальны. Это все просто маски, вроде тех, из папье-маше, что мы делали для одной из наших

школьных постановок. Какая же это была пьеса? По-моему, «Алиса в Стране чудес», а может, и не она. Хотел бы я вспомнить эту пьесу – очень хотел бы. Все кругом замаскировано, Эйб, и вот тебе вопрос на миллион долларов – что же скрывает каждая из этих масок? Если бы я мог прорваться сквозь них, сжать кулак и разбить каждую!.. – Рука Дэна грохнула о стол, зазвенели, подскочив, наши тарелки. – Если бы у меня получилось – что бы я под ними нашел? Просто плоть – или что-то еще? Будут ли там те вещи, о которых говорил священник на похоронах? Тебя там не было, не так ли? Тогда мы еще не так хорошо знали друг друга. Красота, сказал священник. Моя жена и дети сейчас – в месте невиданной, невыразимой красоты, красоты за гранью нашего восприятия. И еще там радостно, сказал он. Бесконечная радость. Если бы я мог пробить дыру в чьей-нибудь маске, я бы увидел красоту и радость? Или у нас есть только маски – и все? Знаешь, сидя на том перекрестке и глядя, как зеленый сменяется на красный, я не думал о рае. Я думал о совсем-совсем других вещах. Может быть, Бог наш, если он есть, не так уж хорош. Может быть, он злой или сумасшедший. Или просто скучающий, или очень недалекий. Может быть, у нас тут все совершенно неправильно. Может быть, то, что скрывается за маской, уничтожило бы нас, если бы мы могли это видеть. Ты думал когда-нибудь об этом?

– Не уверен, – пробормотал я.

– Это нормально, – кивнул Дэн и, откинувшись на спинку

стула, погрузился в забытье.

Сейчас я вспоминаю его слова с дрожью и думаю – откуда же он знал? Говорят, когда мозги наши попадают в переплет, у нас просыпается дальновидность. Возможно, именно это с ним и случилось. Опять же, мне следует держать в уме тот случай на Голландском ручье – все то, что мы услышали и увидели, и да поможет нам Господь. Все это, конечно, совсем не обязательно подтверждает слова Дэна. Может, говоря так, я надеюсь на лучшее... ну или становлюсь почетным членом общества верующих в плоскую Землю, выказываю закидоны в духе Поллианны⁵. Есть вещи, с которыми жить нельзя – независимо от того, правда они или вымысел. Нужно от них отречься. Отвести взгляд и не просто притвориться, что перед вами ничего нет, а забыть о самом факте увиденного. И о трусости здесь речь не идет – людская душа суть хрупкая вещь, и не всякое огненное откровение идет ей на пользу. Что нам еще остается?

Так как Дэн был явно не в состоянии доехать до дома, я уложил его на свою кровать, а сам устроился на диване. Поднять его со стула, вывести из гостиной и по коридору доволочь до спальни оказалось непростой задачей. Он все время останавливался и выказывал желание улечься прямо

⁵ *Поллианна* – героиня одноименной книги Элинор Поттер (1913), девочка, отличающаяся особой формой оптимистического мировоззрения, испытывающая радость по поводу каждого негативного события в жизни и всегда стремящаяся с помощью хитроумной полемики выставить любой негативный опыт в положительном свете.

на пол, а убедить взрослого мужика, сломленного горем и вдобавок пьяного, не упасть там, где он стоит, сложнее, чем кажется.

После рассказа Дэна у меня не было проблем со сном. Но позже, той ночью – строго говоря, то было уже утро следующего дня, – мне приснился кошмар. Первый с тех пор, как Мэри умерла. Как правило, сны мои отличались приземленностью и состояли в основном из ситуаций, пережитых за день. Мой разум очень редко выдавал что-то странное и необычное, если выдавал вообще. Со мной всегда так. По правде говоря, я даже завидовал тем людям, что переживали во снах невероятные приключения и бурные любовные похождения... или хотя бы ужинали с Элвисом Пресли. Что-то вроде маленького личного фильма, правда? Так вот, мой сон мало напоминал голливудскую феерию. Такой фильм хочется выключить, но, как только поступишь так, придется встать с дивана и пересечь гостиную, что еще страшнее. Прогулка по гостиной кажется непозволительно большим риском. Но это еще не все – есть еще и некий градус *очарования*. И глаза не отрываются от экрана, даже если их обладатель пожалеет позднее о том, что не щелкнул кнопкой на пульте, даже если он потом накроется с головой одеялом и проведет остаток ночи, пытаясь убедить себя, что скрипы за дверью спальни – это просто ворчит старая древесина дома, это не ступенька прогибается под чьим-то весом.

Во сне я ловил рыбу... и с самого начала все было ненор-

мально. Я стоял близ узкого, извилистого и быстрого потока. Говоря «быстрый», я подразумеваю, что вода вспенивалась прямо у меня на глазах, как после затяжной бури, и это сбивало с толку. По левую руку от меня ручей сбегал с крутого холма, по правую – вздымался на дюжину ярдов и опадал. Другой берег резко восходил к плотной гряде вечнозеленых деревьев, и где-то позади меня ситуация наблюдалась точно такая же. Небо над головой было чистым и голубым, солнце ослепительно палило в зените, но, будто выражая презрение его свету, деревья напротив меня – не только пространство между стволов, но и сами стволы – непроглядно темнели, как если бы их изваяли из самой ночи. Стоя там, на краю этого бушующего ручья, с удочкой в руках, занесенной для броска, я не мог отвести глаз от тех деревьев, от той темной чащи – что было странно, ведь, глядя на них, я испытывал сильное головокружение, как зависший над бездной, всматривающийся в глубокую пропасть. А хуже всего было то, что за мной оттуда кто-то совершенно точно наблюдал – взгляды несметной орды каких-то существ, затаившихся под покровом темных крон, ползали по мне разозленным осиным ро-ем. К горлу подступал крик. Я уже был вот-вот готов бросить удочку и побежать отсюда без оглядки, когда что-то на мою наживку взяло и клюнуло.

Удочка изогнулась. Леска уходила вниз метр за метром со злым свистящим звуком, какой обычно можно услышать только в этих телепередачах про глубоководную рыбалку,

когда клюют марлин или рыба-меч. Она закончилась быстро, но разве мог быть этот ручей таким глубоким, чтобы рыба, пусть даже подавшаяся в глубину, растянула *всю* мою катушку? Начать сматывать леску я не мог – боялся, что удочка сломается (хотя, спрашивается, не лучше ли было дать ей сломаться?), а мой улов тем временем трепыхался где-то глубоко внизу, явно желая сняться с крючка. Внезапно трепыхания унялись, и я застыл, колеблясь, пытаюсь понять, временная ли эта передышка или же рыбаина сдалась. Кажется, сдалась. Я начал сматывать леску. Даже во сне на это у меня будто бы ушли долгие часы, и груз, повисший на другой стороне удила, словно утяжелялся по мере поднятия. Зато больше не дергался. *Что же это за зверь такой*, гадал я. Ни разу за жизнь мне не приходилось слышать о рыбе, что ушла бы с приманкой на глубину, а там вдруг резко выдохлась и позволила себя преспокойно, без дальнейшей борьбы, вытащить. По правде говоря, я понятия не имел, что это за ручей, который позволил моей загадочной рыбе нырнуть так глубоко. Пейзаж напоминал Катскилл, но где именно я в горах – признать не мог.

Не ведаю как, но я почувствовал, что нечто на крючке приближается. Уж точно я не увидел это – сквозь бурлящую воду нельзя было что-то различить. Вместе с этим чувством пришло ощущение, будто неизвестные наблюдатели в чаще все как один задержали дыхание, с нетерпением ожидая незнамо чего. Мой улов наконец-то пробился сквозь тол-

щу вод, и время замедлило свой ход. Я видел что-то темное, кружащееся в воде, похожее на сплетение змей. Не змей... скорее, каких-то растений, водорослей. Нет, не водоросли – *волосы*. То были волосы, густые и коричневые, промокшие и напрочь спутавшиеся. Волосы разметались по обе стороны от высокого, бледного лба и длинных узких бровей над закрытыми глазами. Еще прежде чем из воды явились ее высокие скулы, ее острый, чуть заостренный рот, я уже знал, кого изловил. Из ее маленькой верхней губы торчал крючок, но крови не было – вместо нее из ранки сочилась какая-то черная гадость. Застыв соляным столбом на берегу, я таращился на свою жену, на мою бедную мертвую Мэри, осознавая даже во сне безвозвратность утраты, вцепившись отчаянной хваткой в удочку и не ведая, что можно еще сделать. Какая-то часть меня пребывала в столь сильном страхе, что твердила мне бросить удило и смыться, даже под страхом столкнуться с бдительными обитателями темной чащи. Другая моя часть была напрочь убита горем, желала броситься в поток и схватить ее, обнять ее, перед тем как она вернется туда, откуда поднялась. Как будто я потерял ее считанных пять минут назад – такой острой была боль в душе. Горючие слезы нескончаемым потоком катились по моему лицу.

И вот она открыла глаза. Я захныкал – только таким словом можно описать те звуки, что я издавал. Глаза Мэри, ее теплые карие глаза, в которых когда-то было так много любви и доброты, исчезли, превратившись в два тусклых рыбьих

бельма, равнодушно взорвавшихся на меня, – почему-то казалось, что, если я все-таки решусь освободить ее из бушующего потока, окажется, что в остальном она тоже преобразилась, что ее прекрасное тело покрылось рядами скользких чешуек цвета стали и острыми уголками плавников. Я дрожал всем телом – дрожал так сильно, что оставалось лишь стоять и смотреть.

Она разомкнула губы и заговорила. Голос ее звучал странно – будто бы она вещала издалека и в то же время шептала мне прямо на ухо.

– Эйб, – сказала она каким-то чужим, непривычным, но все еще узнаваемым голосом.

Я ответил ей одним лишь кивком – язык присох к небу.

– Он тоже рыбак, – произнесла она. Из-за крючка, торчащего из губы, ее слова звучали невнятно. Я еще раз кивнул, не зная, о ком она говорит – о Дэне?

– Иные реки залегают глубоко, – сказала Мэри.

Мои губы дрожали, и я кое-как выдавил:

– М-м-мэри?

– Глубоко, темно, – нараспев произнесла она.

– Дорогая?

– Он ждет.

– Кто? – спросил я. – О ком ты говоришь?

Ответ я не разобрал – всему виной проклятый крючок. Невнятный набор слогов звучал так, будто собирался в слово

из немецкого или голландского языка: *there fissure*⁶? Что-то вроде этого. Прежде чем я успел попросить ее повторить, Мэри сказала:

– Что утрачено, то утрачено, Эйб. Ничего не вернуть.

Ранка от крючка разверзлась от ее губ до самой линии роста волос, и из прорехи выплеснулось нечто светящееся, стремительно растущее. Леска потянула меня к воде, руки будто приросли к удочке. Бурлящий поток насмехался надо мной, миг ожив. Еле живой от страха, я боролся изо всех сил, тормозя неуклонное приближение к воде подошвами, но монстр в обличье Мэри был сильнее. Рывок – и вот я уже лечу головой вперед в пенящиеся воды, и сотни ртов, набитых под завязку мелкими, острыми, ослепительно белыми зубами, распаиваются в предвкушении, и...

И я, вздрогнув, просыпаюсь – во рту пустыня, сердце ошалело колотится о самые ребра.

⁶ Английское непереводаемое *there fissure* созвучно с фигурирующим выше по тексту немецким *der fischer*.

3

В забегаловке Германа

Оглядываясь назад, мне трудно не видеть в этом сне предзнаменование. Честно говоря, не могу понять, как я мог принять его за что-то еще. Такова проблема всех рассказанных историй, верно? После того как все улеглось, когда вы пытаетесь собрать воедино все то, что с вами произошло (и, что не менее важно, понять, *как* это произошло), всплывают различные события, те же сны, что предсказывают будущее с такой завидной точностью, что только гадать остается – как же вы их так прохлопали? Видимо, любому знамению требуется подтверждение реальностью, иначе никто не будет воспринимать его всерьез. Утром все подробности сна – бушующий поток, неизвестные в чаще, лицо Мэри, разрезаемое шрамом надвое, – были живее всех живых в моей памяти, но, если бы кто-нибудь спросил меня, что я думаю по поводу значения этих видений, я бы наверняка открестился какими-нибудь словами вроде «подсознательный страх» и «подмена понятий». В нашу эру популярной психологии, доступной со всех телеэкранов, даже ребенок без труда озвучит пару-тройку заумных словес, якобы убедительно объясняющих смысл любой грезы. Если бы кто-то спросил меня, думаю ли я, что сон – это предостережение, пророчество в духе тех, что описаны в Библии, я, скорее всего, ответил бы

снисходительным взглядом, как бы говорящим «ну и чудак ты, дружище». Даже будь я излишне суеверным, сон не отвратил бы меня от рыбалки. Кроме того, сон ни разу не повторился, а разве мрачные пророчества не должны возвращаться снова и снова, доказывая свою серьезность? Сон я запомнил хорошо, повторы мне и не требовались... Но значения ему не придал. Я не связал его с ее призрачными визитами ко мне во время рыбалки (даже в голову такая мысль не пришла), списав все на впечатления от посещения могилы Мэри той зимой.

Душевные терзания, настигшие Дэна в тот воскресный вечер, когда он пришел ко мне, стали первыми признаками перемен, которые случились с ним в течение следующих нескольких месяцев. По сей день мне неизвестно, что их спровоцировало. Похоже, горе, удерживаемое им до поры в узде, сыскало прореху в обороне и, выбрав момент, когда он был наиболее уязвим, намертво вгрызлось ему в нутро своей грязной пастью. Дэн стал носить один и тот же костюм несколько дней подряд, щетина грозила стать полноценной куцей бородой. Его волосы, еще больше отросшие, слиплись сосульками. На работу он стал приходить, мягко говоря, как попало: однажды утром не объявился до девяти или даже половины десятого, зато в другой раз уже в четверть седьмого уселся за стол. Но даже в такие дни, приходя намного раньше всех нас, Дэн проводил большую часть времени, играя в гляделки с монитором, который даже не включал. Его

взгляд, тот самый взгляд, который, как я чувствовал, хотел пронзить собеседника, отяжелел до такой степени, что стало почти невозможно вести с Дэном какой-либо разговор. Он, кажется, не слушал ничего, что мы говорили, просто таращился на нас раскалившимися до температуры домы глазами. Он никогда не задерживался на работе позже других, и часто к концу дня его кабинет уже пустовал.

Вскоре его положение на работе оказалось под серьезной угрозой. Он возглавлял пару важных проектов – в одном его приоритет понизили, в другом прямым текстом от отказались. Компания изменилась. Сама политика «IBM» изменилась, и даже я с трудом находил себе место в этой новой конторе – не тот это был старый добрый «IBM», совсем не тот. «Семейный» принцип, согласно которому все мы заботились друг о друге, потихоньку вытеснялся карьеризмом и банальной жадностью – то есть Дэн мог не рассчитывать на те же понимание и снисхождение, что достались мне больше десяти лет назад. То, что ему было все равно, сохранит ли он свою работу сейчас или нет, не означало, что он не будет чувствовать себя по-другому в будущем, и я сделал все возможное, чтобы заставить его это понять. Но на Дэна мои увещевания не очень-то и действовали. Горе забросило его далеко-далеко в сумеречный край, из которого мало кто возвращался, и в этой мрачной внутренней империи все мое беспокойство обесценивалось, а все мои слова с тем же успехом могли быть заменены каким-нибудь посланием с далеких и

чуждых нам звезд.

Если бы вы спросили меня, думал ли я после моей второй попытки поговорить с ним, что Дэн будет рядом, когда начнется следующий весенний рыболовный сезон, я бы ответил «нет». В прошлом месяце Фрэнк Блока бесцеремонно выволокла из конторы парочка охранников, когда он поднял крик по поводу того, что его тут попросту держат в черном теле. Мой собственный начальник, молодчик, чьей основополагающей специализацией, судя по всему, являлся подхалимаж – уж им-то он был наделен в избытке, – повадился мне непрозрачно намекать на то, что компания предлагает чрезвычайно щедрую пенсию всем, кому хватает ума на нее согласиться. Началась настоящая охота на ведьм – сверху явно поступил приказ срезать под корень всех засидевшихся «старичков» и просто неугодных сотрудников, и в разгар этой бойни Дэн услужливо клал голову на плаху и протягивал топор всякому мало-мальски заинтересованному в его уходе лицу. Однако со своим беспокойством я и правда переборщил: каким-то образом за свое место он все же держался. Независимо от того плачевного состояния, в коем он ныне пребывал, Дэн был толковым парнем – самым лучшим, по сути, в своем выпуске. Надо полагать, в работу конторы он успел внести достаточный вклад, чтобы верхи предпочитали держать его на плаву, а не бросать акулам на съедение.

Иногда мне кажется, что, если бы мы с Дэном не работали вместе, то навряд ли порыбачили той весной. Он не воз-

вращался в мой дом с той ночи в феврале. Я приглашал его несколько раз, но он всегда утверждал, что связан тем или иным обязательством: и его родственники, и члены семьи Софи все еще будто бы предпринимали спорадические попытки навестить его, вот только подозрительно часто их визиты совпадали с моими приглашениями. Сам же он ни разу не предлагал мне прийти. Я был уверен: его смущало все то, что произошло, но я не видел способа сказать ему, что смущение ни к чему, не пробудив в нем плохие воспоминания и не усугубив ситуацию. Несмотря на все мои хлопоты насчет его положения на работе, я все же уважал ту дистанцию, которую он предпочитал держать.

Однажды, вернувшись с обеда, где-то за две недели до начала сезона ловли форели, я не без удивления застал у себя в кабинете Дэна. Он сидел на краю моего стола – этакая большая тощая горгулья.

– Привет, Эйб, – сказал он.

– Здравствуй, Дэн, – откликнулся я. – Чем обязан?

– Сколько времени осталось до начала форельного сезона?

– Тринадцать дней, – прикинул я. – Если подождешь немного – я скажу с точностью до часов и минут.

– Готовишься уже?

– Само собой. Еще спрашиваешь!

– Не возражаешь против компании?

– Рассчитываю на нее, – сказал я, вот только дела обстоя-

ли несколько иначе. Я не был уверен, что Дэн присоединится ко мне в этом году. Учитывая его смущение по поводу февральских событий, да и в целом отчужденность последних дней, я предположил, что он если и захочет закидывать удило, то исключительно в одиночку, поэтому даже не поднимал тему рыбалки на пару.

– Рад слышать, – сказал Дэн. – Спасибо тебе.

– Ой, да брось ты. Где бы я был без тебя, товарищ-водопахарь?

– Могу я тебе кое-что сказать? – спросил он, подаваясь вперед.

– Конечно.

– Мне снилась рыбалка. И довольно часто.

– Мне тоже, – улыбнулся я, – особенно на заседаниях нашей конторы.

Глаза Дэна, расширившиеся при моем «тоже», сузились, когда я обернул все в шутку.

– Есть такое, – произнес он со слегка раздраженной ноткой в голосе и слез со стола. – Ты будешь удить у Сварткила?

Я кивнул:

– Каждый сезон начинаю у него. Своего рода традиция, смекаешь?

– Да, конечно же, – кивнул он. – А потом? Возвращаешься в Катскилл?

– Воистину, так и есть. Ну и еще пара-тройка местечек намечена, куда мне не терпится попасть.

– Я могу предложить одно, если ты не против.

– Только за. Куда наостримся?

– На Голландский ручей, – произнес он, и если бы наша жизнь была фильмом, в этом месте заиграла бы тревожная музыка. Но разговор сопровождал лишь идущий из коридора шум от работаг, возвращающихся с обеда. – Ты слышал о нем?

– Не уверен. Где это?

– За Вудстоком. Он течет из водохранилища прямо в Гудзон.

– Звучит многообещающе. Как ты на него наткнулся?

– Прочитал о нем в книге.

Честно говоря, детектор лжи из меня никакущий. На протяжении всей моей жизни мои родственники и друзья пользовались моей практически безграничной доверчивостью, то и дело проворачивая всяческие шуточки, иногда довольно-таки жестокие. Но тогда я понял, что Дэн говорит неправду. Не могу сказать, как это до меня дошло – он ведь не прятал взгляд и не потирал руки, но уверенность моя была достаточной, дабы взять и переспросить:

– Что, правда?

– Правда, – сказал он, нахмурившись, – видимо, его насторожил мой тон.

– А что за книга? – спросил я, не в состоянии понять, зачем утаивать такую банальщину.

– В «Катскиллских горах» Альфа Эверса, – ответил он. –

Знаешь о такой?

– Первый раз слышу, – признался я, понимая, что он мог взять название с потолка, – я ведь сказал ему как-то, что читаю мало, и все, что проходит через мои руки, – в основном либо шпионские триллеры, либо романы Луиса Ламура⁷. Да и потом, какая разница, где он откопал этот самый ручей? Может, ему о нем рассказала какая-нибудь подцепленная в баре девица, и он стыдится раскрыть мне такой источник. Раз уж ручей был там, где он сказал, и раз рыба там клевала – должно ли меня интересовать что-то еще? И потому я сказал:

– Славно, тогда добавим Голландский ручей в наш маршрут.

Казалось бы, пустяковое решение, но видели бы вы, как обрадовался Дэн. Его лицо просветлело, и он энергично закивал, приговаривая:

– Шикарно, Эйб. Просто шикарно.

Что ж, планы были обговорены, настало время вернуться к работе. Мы договорились встретиться, как обычно, на Спрингвэйл через неделю с небольшим, во вторую субботу. Дэн вызвался принести кофе и пончики.

В тот же вечер я попытался отыскать Голландский ручей в атласе округа Ольстер, и это заняло у меня куда больше времени, чем я предполагал, – в указателе это местечко отмече-

⁷ Луис Ламур (1914–1988) – американский автор книг в жанре вестерн, один из ключевых авторов данного направления.

но не было, что показалось мне немного странным. В целом атлас был довольно-таки подробный. Припомнив слова Дэна о водохранилище, я порыскал по страницам в поисках Ашокана и его границ. Мой палец прошел над местом, где ручей вытекал из него, по крайней мере, дважды, но с третьей попытки я его все же нашел, а когда нашел – не поверил, что не заметил ручей сразу. Трудно было упустить эту извилистую синюю нить, протянувшуюся от южной окраины водохранилища к Гудзону. Я проследил его курс, двигая указательный палец вдоль берегов и уже предвкушая славный улов. Голландский ручей в паре-тройке мест перекручивался и буквально замыкался сам на себя, что сулило большие скопления рыбы в образовавшихся волею матушки-природы «витках». Интересно, подумал я, почему его так называли? Все земли сверху и снизу Гудзона, от Манхэттена до Олбани, первоначально были заселены голландцами, и до сих пор не проблема сыскать немало городишек по обе стороны от реки, чьи имена наглядно указывают на сей факт: Пикскилл, Ньюберг, Фишкилл. Вопрос я, конечно, досконально не изучал, но мне казалось, что мест, названных голландцами, тут с избытком, а вот мест, названных *в честь* голландцев, – ни одного. Так почему Голландский ручей? Закрыв атлас, я призадумался.

Ответ на свой вопрос я получил два месяца спустя, когда мы с Дэном завалились в забегаловку Германа, что на Двадцать восьмом шоссе, к западу от Уилтвика. Дэн захотел

остановиться там по дороге к ручью, выпить чашечку кофе и позавтракать. Время от времени он так делал. Я предпочитаю завтракать дома, на крайняк – брать с собой бутерброд с сыром или вареное яйцо. Останавливаясь на перекус, Дэн по обыкновению усаживался, брал меню и заказывал что-то, что еще не пробовал, – греческий омлет, ореховые блины. Делай он так слишком часто, я подозреваю, это вылилось бы в проблему, однако же его просьбы о том, чтобы мы пожертвовали полчасом в той или иной закуской, были немногочисленны и скромны, и я говорил себе – черт возьми, почему бы и нет. Прошло много времени с тех пор, как я ел ореховые блинчики, а к ним бы еще славную сардельку – и вообще было бы замечательно. Кроме того, было совершенно очевидно, Дэн питался плохо, и я решил – пусть хоть сегодня этот парень поест нормально.

В то утро мы не торопились попасть на берег реки. Всю последнюю неделю по небу ходили серые тучи, пролившие на нас столько дождя, что впору было обзавестись жабрами. Ливень утих к ночи, но облачный фронт все еще висел на небе, и все ручьи в округе почти наверняка сейчас отличались нездоровым половодьем и загрязненностью. Есть такие рыбаки, которые наверняка сказали бы, что после такой дрянь-погоды лучше прождать денек-другой, а уж только потом забрасывать удочку, но я был из числа энтузиастов, считал, у природы нет плохой погоды... во всяком случае, тогда. Словом, мы отправились на запад от Уилтвика по Двадцать

восьмому шоссе в обычное предрассветное время, прямоком к Голландскому ручью. По дороге мы остановились в забегаловке Германа.

Заведение это ютилось на правой стороне дороги – последнее здание в ряду, что состоял из автозаправочной станции, скрещенной с автомойкой, мебельного магазина и ларька с мороженым. Закусочная стояла точно в центре небольшого пустыря – этакий ящичек цвета стали, прочно ассоциирующийся с американскими пятидесятыми. Сейчас там все заколочено; закусочная не работает последние несколько лет, и причина ее закрытия мне неизвестна. Да, маленькая была, зато удаленькая, сколько в нее заходил – ни разу не разочаровала. Самого Германа, кстати, я никогда не застал. Сейчас и вовсе задаюсь вопросом: а был ли Герман? Всегда были только Кэтлин и Лиз, официантки, Говард, шеф-повар, и парочка мексиканцев-братьев, Эстебан и Педро, на подхвате. Что мне в этом месте нравилось и неизменно к себе влекло – так это внутреннее убранство в подчеркнуто рыбацком стиле. На стенах висели гарпуны и сети, а еще – добрая тысяча снимков парней с рыбинами. Пара-тройка речных монстров в виде чучел красовалась на видных местах. На самом входе меня неизменно приветствовало что-то вроде стенда или стенгазеты с комиксами о рыбалке. Главным образом вырезанные из газет, одни смотрелись свеженькими, другие успели пожелтеть от времени. Моим фаворитом был как раз один из старых комиксов: он изображал двух ло-

сосей ростом с человека на берегу реки, один из них курит сигару, другой держит пиво. Обе рыбы закинули удочку в реку, что кишмя кишит крохотными людишками, идущими вверх по течению, – руки раскинуты по бокам, головы вытянуты вперед. Никакой остроумной подписи не прилагалось, но мне все равно было смешно – я похохатывал всякий раз, когда заходил внутрь и наткался взглядом на это чудо, и даже несмотря на то, что случилось позже в тот же день, рисунок нагоняет на мое лицо улыбку и ныне, всплывая иногда в памяти. А вот Дэну он забавным не казался.

Но самой странной частью декора, на которую я всякий раз обращал пристальное внимание, служила огромная картина маслом, висевшая слева над стойкой. Полотно было настолько старым, настолько пропитанным дымом тысячи омлетов и бургеров, что лишь прилежным и тщательным изучением можно было развивать представление о ее предмете. Холст являл собой столь явный хаос теней и полутонов, что я даже решил как-то, что передо мной некий масштабный тест Роршаха. Туда, где висел холст, практически не добиралось тамошнее освещение, и это тоже накладывало на восприятие картины ощутимый отпечаток. Можно было разглядеть длинное, изогнутое черное пятно, парящее в середине картины над другим пятном, бледным, а еще – волнистую белую линию в верхнем правом углу. Вы, наверное, думаете, что я ни черта не смыслю в современном искусстве – что ж, пусть так. Но что-то было в этой картине непередаваемое,

невыразимое: она *очаровывала* меня этими издевательски-ми ускользающими полупапеками на истинный смысл, когда казалось, что еще немного – и суть нарисованного станет ясна как божий день. Может, она взаправду была тестом Роршаха, и ничем иным. Каждый раз, садясь за стойку, я толковал ее по-разному. Однажды – должно быть, то был первый раз, когда я остановился у Германа, – я увидел птицу, парящую в небе, может быть, ворона. В другой раз я решил, что это может быть летучая мышь. Затем, исходя из общей тематики оформления забегаловки, я сделал вывод, что на картине изображено нечто на рыбацкую тематику. В ходе всех этих измышлений я не раз и не два призывал персонал на помощь, но толку от всех от них было чуть – более того, никто не был уверен, откуда именно взялась картина. Говард, к примеру, считал, что ее приобрели в гостинице где-то в Новой Англии при каких-то весьма и весьма загадочных обстоятельствах, но большего сказать о ней не мог. И да, никто не мог сказать, что именно на холсте изображено. Лиз и Кэтлин отказались делиться догадками, несмотря на все мое пущенное в ход престарелое обаяние.

В то утро, когда мы с Дэном сели за прилавок и заказали кофе, без посторонней помощи я углядел в черном пятне в центре картины длинную рыбу – не то щуку, не то миногу. Рыба, подцепленная на крючок, билась в воздухе, сражаясь со своей судьбой. Чем дольше я смотрел на полотно, потягивая кофе, тем больше креп в убеждении, что наконец после

долгих размышлений я разгадал его тайну, что виделось мне благим предзнаменованием для предстоящего дня рыбалки. Меня охватило мгновенное желание рассказать кому-нибудь о своем открытии, поделиться своим успехом, но Дэн только что отправился отлить, а больше в закусочной никого не было. К тому времени, как он вернулся, желание пропало.

Пока я обшаривал взглядом зал, ища кого-то, с кем можно было бы разделить радость дешифровки картины, внимание мое привлекли сгустившиеся тучи, затмившие пасмурное сияние слабого рассвета. Миг спустя первые капли дождя забарабанили по оконным стеклам. Чертыхаться вслух я не стал, хоть и желание было велико. Конечно, воды небесные меня не остановят – черт побери, я бы закинул удочку, даже если бы повалил снег, но надо же было этому засранцу пойти именно сейчас! Слепой дождик не так уж плох, но тяжелый ливень, колотивший о крышу забегаловки, – такой, под которым вы промокнете до нитки за минуту, а идти ему еще добрый час, – обрадовать меня ну никак не мог. Может, нам с Дэном повезет, и надолго заряд не затянется. Но к тому времени как Лиз поставила передо мной тарелку с рагу и яичницей, забегаловку со всех сторон обступили плотные водяные завесы.

Пока мы с Дэном уплетали свои завтраки, из кухни показался Говард. Нацедив себе чашку кофе, он пристроился поболтать с нами. Я видел, как он делал так время от времени. Похоже, он был владельцем закусочной и таким вот об-

разом налаживал хорошие отношения с клиентами. Я имел с ним непродолжительный разговор два или три года назад – вряд ли он, конечно, помнил об этом, мы просто обменялись парой словечек о погоде, теплой и солнечной, о клёве и о том, что за рыба водится в здешних стремнинах. После этого он кивал всякий раз, когда видел меня, но я заметил, что подобных кивков удостаивались почти все посетители закуской. Высоким он был парнем, этот Говард; палки-ручички переходили в массивные ладони, лицо – из той породы, которую моя мать именовала «замятышами», не уродливое, просто неладно скроенное. Благодаря оттопыренной челюсти он выглядел так, будто всегда держал во рту ложку горячего супа. Его кожа была бледной и имела тот изношенный вид, присущий заядлым курильщикам, дымящим большую часть своей жизни. Голос у Говарда был низкий, проседающий, судя по подслушанным мною разговорам с остальными – чем-то искусственно обостренный; мне всегда было интересно, чем там, на кухне, он пыхает, пока готовит, но интерес этот так и остался неудовлетворенным.

Так или иначе, Говард предстал перед нами – под грязно-белым поварским колпаком, с привычной чашкой кофе в огромной лапше. Отсалютовав нам и пожелав бодрого утра, он выслушал наши ответные приветствия и заявил:

– Погодка-то у нас сегодня шепчет.

Дэн хмыкнул, поднеся чашку ко рту, я же сказал:

– И не говори. Уверен, ручки сейчас беснуются.

– Много наводнений приключилось, – сказал Говард, – парочка довольно дрянных. Вы, ребята, рыбачить наострились?

– Так точно, – ответил я.

Говард поморщился:

– Не скажу, что удачное времечко выбрали. А куда именно путь держите?

– На Голландский ручей, – сказал я и по наитию добавил: – Слыхал о таком?

Пожалуй, можно было пересчитать по пальцам все те случаи, когда сказанное мной заставляло кого-то бледнеть. Главным образом такое случалось в детстве, когда нужно было поделиться с родителями особо тревожной новостью: мам, я наступил в подвале на гвоздь, пап, в нашу новую спутниковую антенну ударила молния – все в таком духе. В то субботнее утро я заполучил еще один случай в общую практику. И без того бледная кожа Говарда совсем уж побелела – представьте себе миску овсяной муки, на которую вылили стакан молока, и поймете, о чем я. Он явно ушам своим не верил – глаза округлились, челюсть отвисла. Поднеся чашку ко рту, он залпом допил остатки кофе и пошел наводить еще одну. Я обернулся к Дэну – тот смотрел прямо перед собой, набив рот бельгийской вафлей, на лице его застыло выражение, которое я не мог опознать.

Щедро сыпанув в чашку сахара и даже не размешав его, Говард возвратился к нам. Все еще молочно-бледный, он

уточнил у нас спокойным голосом:

– Голландский ручей, говорите?

– Он самый, – подтвердил я.

– Мало кто теперь о нем знает. Вас-то как угораздило?

– Мой друг прочитал о нем, – сказал я.

– А что, о нем где-то пишут? – спросил Говард у Дэна.

– Угу, – откликнулся Дэн, дожевывая вафлю.

– И где же, коли не секрет?

– В книге про наши Катскиллские горы. Автор – Альф Эверс. – Говоря это, Дэн даже не смотрел на Говарда.

– Хорошая книга, – произнес Говард, и я заметил, как Дэн напрягся. – Ладно написана. Только я вот не помню, чтоб в ней ручей был упомянут.

– В главе о водохранилище, – сказал Дэн.

– О, вот где, значит? Запоматовал, стало быть. – Тон, которым Говард это произнес, как бы предупреждал нас, что с памятью у его хозяина все в порядке. – Надо бы еще разок книгу старины Альфа прочитать. Есть там парочка хороших историй. Ну, раз уж моя память, ясен пень, уже совсем не та, что раньше, может быть, вы напомните мне, что еще Альф пишет о ручье? Он рассказал, как он получил свое название?

– Нет, – отрезал Дэн.

– Ну, а как же те люди, что там умерли? Он что, совсем о них не упомянул?

Голова Дэна еле заметно дернулась.

– Не упомянул.

– Ну дела, – протянул Говард, потирая челюсть свободной рукой. – Выходит, старина Альф не такой уж знаток, каким мне виделся.

– Там кто-то умер? – уточнил я.

– Да, – кивнул Говард. – На том ручье несколько человек Богу душу отдали. Берега там круче, чем кажется на первый взгляд, да и почва довольно рыхлая. Вдобавок ко всему глубоководный он, да и воды у него быстрые. Глядишь, не там шагнешь, оступишься – и все, свалился, а там уж поминай как звали.

– И сколько же человек утонуло? – поинтересовался я.

– С полдюжины это точно, – ответил Говард. – И это я считаю только тех, что утопили в то время, как я поселился здесь. – Рукой с кружкой он широко обвел закусочную. – То бишь за последние двадцать лет или около того. Не знаю, что именно за этим стоит, но если верить иным старожилкам, так ручеек этот погубил достаточно народу, чтоб кой-какие реки на слуху людском пристыдить. Тонут в основном иногородние, все эти туристы выходного дня. Те, кто здесь живет, как правило, знают, что к ручью лучше не соваться, хотя время от времени какой-нибудь школьник решает пустить пыли в глаза своим друзьям или девчонке какой, показать, какой он крутой из себя... Ну, коли происходит так – ручей-то не особо разборчив. Лопает то, что подают, ежели понимаете, о чем я. Старики говорят, что он всегда голодный, и, коли исходить из того, чего я слышался, молвить поперек тут нечего – так оно и есть.

– Как он получил свое название? – спросил Дэн.

– Пардон? – сощурился Говард.

– Вы спросили, знаем ли мы, как Голландский ручей получил свое название, – сказал Дэн. – Отсюда разумно предположить, что вы-то всё знаете. Разве не так?

– Так, – признал Говард. – История долгая. Кто-то скажет – легенда местная, а я думаю, не все так просто. Долго рассказывать, правда. Дольше, чем вы, парни, ожидаете.

– Мне вот любопытно, – заупрямился Дэн. – Уверен, и Эйбу тоже. Эйб, я прав?

Понятное дело, он был прав. Предостережение Говарда заставило меня задуматься, из-за чего весь сыр-бор. И еще меня крайне интриговала некая химия между ним и Дэном. То была не враждебность – выглядело скорее так, будто Дэн боялся, что Говард собирается растрезвонить о чем-то, что он хотел бы скрыть, а Говард был недоволен тем, что Дэн делает из этого чего-то секрет. Да, конечно, мы приехали порыбачить, не послушать байки, но взгляд через плечо убедил меня в том, что ливень и не думает прекращаться. Я вздохнул:

– Твоя правда, Дэн. Послушать хорошую историю, пусть даже легенду, всегда приятно. Но мы не хотим тебя отвлекать от забот, Говард.

– Думаю, Эстебан с Педро без меня справятся покамест. К тому же, непохоже на то, чтобы у меня забот был полон рот. – Он выразительно оглядел закусочную, все еще пустую, если

не считать нас. Кэтлин и Лиз сидели вдвоем за одним столиком: первая курила, вторая читала газету. – Странные дела, для субботы-то. Даже в ливень всегда сыщется пара-тройка горячих голов, что явятся ко мне на завтрак любой ценой. – Он пожал плечами. – Выходит, парни, мне вроде как сам случай предписывает вам все выложить, а? – Голос у него был ровный, обычный, но я вдруг осознал, что таким его делает тяжкий исповедный груз. Говарду *хотелось* поделиться историей с нами, в какой-то мере он даже торопился сделать это – и на миг меня посетило почти что непреодолимое желание сбежать от него, не слышать его, все деньги из кармана швырнуть на прилавок – и дать деру в ливень.

– Поймите, я не могу ручаться ни за что из этого, – сказал он. И я попался на крючок.

Его рассказ длился почти час, и все это время закусочная была недвижима, как церковь, отрезанная от остального мира стеной воды, низвергающейся с неба. Рассказ был долог – мне никогда не доводилось слышать столь продолжительную историю. Пока он рассказывал, я все никак не мог поверить в то, что он столько всего помнит – столько нюансов, поступков, мыслей, намерений, и тоненький голосок у меня в голове все нашептывал и нашептывал: *это невозможно, ни у кого не может быть такой точной памяти, он все придумывает, иначе и быть не может.* У меня и раньше складывалось о Говарде интересное впечатление, но ныне, после услышанного, оно стало казаться простым-простым, как ко-

фе с яблочным пирогом. Даже после того, как мы с Дэном заплатили за нашу еду, покинули закусочную и продолжили путь к ручью, мне казалось, что я все еще слушаю его голос, как будто я попал внутрь его истории и глядел на все глазами очевидца.

Если я скажу, что в рассказе Говарда было больше правды, чем мне показалось в первый раз, не думаю, что это будет сюрпризом. Что я нахожу почти таким же замечательным, так это то, что я могу вспомнить почти все, что Говард сказал, едва ли не слово в слово. Учитывая, что должно было случиться со мной и Дэном, возможно, дивиться тут нечему. Но я могу вспомнить и все то, что Говард мне не говорил.

Спустя несколько месяцев, когда лето стало сухим и жарким, я сел за стол, положил перед собой лист бумаги и занес над ним ручку. История Говарда грызла меня неделями, и я решил предать ее бумаге – все-все, что врезалось намертво в память. Ожидал, что задуманное отнимет у меня весь день – ведь нужно было записать целый часовой рассказ! Писателем я не был, мне лишь хотелось добиться наибольшей обстоятельности и точности. К наступлению первой ночи моя рука все еще двигала ручкой по бумаге. Следующие четыре дня я писал. Я писал, писал и писал, осознавая, что история перешла ко мне, что каким-то образом Говард спрятал ее внутри меня.

В процессе явились детали, растянувшие запись с конца утра следующего дня аккуратно до самого вечера. Всевозмож-

ные подробности о людях – героях его рассказа – о Лотти Шмидт и ее отце, о Райнере, о тех мужчинах и женщинах, вовсе им не упомянутых, как Отто Шалкен и Миллер Джеффрис, – переполняли страницы. И все же в то же время каждая записанная деталь казалась мне знакомой. У меня было такое безумное чувство, что, несмотря на то многое, что Говард не упомянул, история ушла со мной из закусочной Германа в таком вот полном виде – посеянная во мне и почти сразу давшая полноценные всходы.

Что ж, привожу это расширенную версию его рассказа здесь, расставляю, так сказать, все ключевые фигуры на шахматной доске и отхожу от своей собственной истории на значительно бóльшее время, чем мне хотелось бы. Без поведенного нам Говардом все, что произошло со мной и Дэном, все это зло, что обнаружило нас и преследовало нас, имеет гораздо меньший смысл. Хотя, может статься, не так уж и много света на дело байка та проливает. В любом случае... слушайте. Представьте, что все это время мы с Дэном сидим где-то в стороне от драмы, что вот-вот разразится, в то время как Говард указывает нам, кто есть кто и что есть что. Как мы нарисованными фигурками из простейшей анимации бегаем по полям этих страниц, наблюдая, как история разворачивает свой зловещий веер.

Итак, вот то, что рассказал мне Говард, чью фамилию я так и не узнал.

Часть вторая

Der fisher: история ужасов

I

Говард сказал, что большую часть истории узнал от преподобного Мэппла. Мэппл был служителем лютеранской церкви в Вудстоке, большим знатоком родного края. Выслушав его рассказ, Говард и сам покопался в кое-каких книгах и историях подобного рода и понял, что слова пастора имеют под собой реальное основание.

Мэппл заявлялся в забегаловку Германа по воскресеньям, рано утром, позавтракать перед службой. Здоровяк, с грудью, похожей на бочку, и длинной пушистой бородой прямиком из времен гражданской войны, он скорее подходил на роль циркового силача, чем ревнителя божия.

Так или иначе, преподобного заинтересовал ручей – Говард не знал, в каком именно аспекте. Что-то, случайно услышанное им в церкви от священника выше рангом, пробудило его интерес. Одним солнечным утром он сам спросил у Говарда про ручей, но Говард в те дни был еще новичком в окрестностях, только-только приехал из Провиденса, где начал писать роман, который никто не хотел публиковать. Он сказал пре-

подобному, что рад бы чем помочь, да сам ничего не знает, и упомянул, что местные начинают чудить, стоит только этот самый ручей упомянуть в разговоре. Говард и сам был рыбак бывалый. Найдя Голландский ручей на карте, он спрашивал по возможности, как туда лучше пройти, но все собеседники, посетители забегаловки, делали все возможное, дабы убедить его, что из ручейных вод ничего стоящего ни в жизнь не выловишь. Делали они это настойчиво, и странное дело – то были вполне молодые люди, не в годах, а на странные советы ведь обычно горазды старики. Да что там говорить, среди увещевателей находились и такие, что были младше Говарда, едва-едва закончившие школу. Данное обстоятельство лишь подогревало его любопытство... но и настораживало в то же время. Он пытался выведать больше о ручье, шел с расспросами к старожилам, но никто ничего сказать не мог.

Тут у преподобного Мэппла возникла идея. В его обязанности священника входило посещение больных из паствы. Кто-то пребывал в больнице, кто-то – дома. Как и Говард, пастор решил, что если кто-то что-то и знает об истории, стоящей за ручьем, то определенно это старики. Ему никого из них не удавалось разговорить при встрече в церкви или в городе, хоть он и пытался. Но, думалось ему, если пообщаться с кем-нибудь из них наедине, что-то да всплывет. Преподобный Мэппл был человеком большим, внушительным, умеющим убеждать; что там говорить – ему почти удалось

переманить Говарда в свою церковь, хоть тот и был воспитан католиком. Слишком хитро для священника? Не без этого. Даже общаясь с людьми один на один, за закрытыми дверями их собственных домов, Мэппл пользовался лукавой возможностью выведать что-нибудь интересное. Но с Голландским ручьем этот фокус не прошел: мало кто мог сказать о нем больше пары-тройки ничего не значащих слов. Одна пожилая дама вспомнила, что ее отец называл местность, где протекает ручей, *Der Platz das Fischer*, но она не была уверена, что означают эти слова, а когда спросила – он залепил ей единственную в ее жизни пощечину.

Но преподобный понял, о чем речь. С немецкого *Der Platz das Fischer* можно было перевести и как «рыбное место», и как «обиталище рыбака». (К слову, когда Говард озвучил это название, в моей памяти что-то проскользнуло – некое смутное дежавю, намекающее на то, что нечто похожее я уже слышал раньше, вот только где?)

Практически год ушел у Мэппла на то, чтобы узнать правду. На все его вопросы дала ответ одна старуха по имени Лотти Шмидт. Навестить ее он отправился в Фишкилл – семья определила ее в тамошний дом престарелых. Сын Лотти был охранником в исправительной колонии. Преподобный Мэппл навещал ее каждую неделю – не потому, что она просила его об этом, а просто считая, что так нужно. Само собой, он спросил ее о ручье – и ей, как и всем остальным, нечего было сказать.

До той субботы. С той поры, как ее заселили в дом престарелых, Лотти семимильными шагами шествовала навстречу Создателю. Такое случается со многими стариками. Была ли тому виной болезнь Альцгеймера, или старческий маразм, – или, быть может, она просто решила не носить тайну под сердцем дальше и поделиться с кем-нибудь напоследок? Иногда, после того, как они заканчивали молиться, он говорил с ней, хотя, глядя со стороны на ее отрешённое лицо, могло показаться, что слова его обращены в пустоту. Тем не менее, как он сказал однажды Говарду, «глубоко внутри у них всегда что-то остается, и нужно дать понять им, что мы не забываем об этом». Поэтому Мэппл рассказывал Лотти о своей жизни, о том, что новенького произошло с последней их встречи.

Однажды, снова вернувшись к теме своих изысканий касательно ручья, он спросил ее, не помнит ли она, как однажды он интересовался у нее об этом, и она ничего не смогла ему сказать. И тут-то его путь к разгадке тайны начался. Он узнал не так уж и много, но начало было положено. Он узнал о Голландском ручье и обиталище Рыбака.

Итак, задав вопрос, преподобный отвернулся от Лотти и пошел наполнить бумажный стаканчик водой из раковины в углу комнаты. Стоило ему обернуться, как он невольно вздрогнул, пролив часть воды на себя. Лотти стояла на расстоянии вытянутой руки от него, ее глаза взирали на него ясно и открыто. Преподобный Мэппл потерял дар речи – он

не слышал, как она вставала с кровати и шла к нему. Прежде чем он смог что-то сказать, Лотти нарушила воцарившуюся тишину первой:

– Это плохое место, преподобный. Это плохое место, и вы не должны спрашивать о нем.

Голос ее при этом звучал довольно-таки странно. Родители Лотти были немцами, да и сама она родилась в Германии. Семья перебралась сюда, когда она была еще ребенком, и, хоть с английским у нее проблем не было, акцент остался с ней навсегда. Время от времени он давал о себе знать: например, молясь, она неизменно говорила «одче» вместо «отче». В те же минуты Лотти говорила так, будто английский знала с трудом... и это было еще не все. Голос Лотти, типичный пронзительно-хрипловатый говорок маленькой старушки, исчез, став сильным и ясным – голосом кого-то, кто был десятилетий на шесть моложе.

Даже будучи застигнутым врасплох, преподобный первым делом осведомился у Лотти, почему же Голландский ручей прослыл таким скверным местом – настолько силен был его интерес. Сначала Лотти ничего не ответила, просто покачала головой и отвела от него взгляд. Тогда он пошел на хитрость:

– Лотти, сказать мне, что ручей плох и не сказать большего – великое искушение, суть прерогатива нечистого. А я, хоть и причастен к Дому Господнему, все же подвержен, пусть и меньше прочих, искусам. Мне хотелось бы прийти к тому ручью и разузнать, чем же он снискал себе столь дур-

ную славу.

Тут Лотти чуть с ума не сошла. Схватив преподобного за руки, она затараторила, что идти туда ему ни в коем случае нельзя, что там слишком опасно, что это страшный грех, а потом из нее хлынул поток словес на немецком – надо полагать, все то же самое, что было сказано ею на английском, но, может, и нечто большее. Она была жутко взволнована, и все, что оставалось Мэпплу, – признать ее правоту, дабы она не ударилась в слезы. Не унимаясь, она стала умолять его дать обещание, что к ручью он все-таки не пойдет. Из чистой жалости он пошел и на это. Испуг Лотти, казалось, служил прямым доказательством тому, что история, связанная с ручьем, взаправду скверная, но преподобный Мэппл был на грани того, чтобы найти ответ на вопрос, коим был одержим в течение последних двенадцати месяцев... сами понимаете, наверное, каково ему было. Он сказал Лотти, что единственный способ узнать, стоит ли ему избегать ручья – услышать о нем всю правду, без преуменьшений и прикрас. Если же причина взаправду окажется весомой, он навсегда забудет о Голландском ручье.

Лотти все еще держала оборону. Отец, сказала она, заставил ее дать клятву, что тайна ляжет в могилу вместе с ней. Тогда преподобный Мэппл, малость выйдя из себя, воззвал громогласно:

– Разве я не слугитель Господень? Не все ли открыто всемогущему Богу? И есть ли хоть что-то, что может быть скры-

то от Него? И если Господь Бог знает все, не следует ли доверять доброму послушнику Его сию страшную тайну?

Говард упомянул, что когда Мэпл рассказывал ему об этом случае, выглядел он слегка смущенным. Надо полагать, у святых отцов имеются свои соблазны.

Оставим пересуды о том, красиво ли он поступил, – его порыв убедил Лотти. Склонив голову, она смиренно пообещала поведать ему обо всем и попросила его не судить мужчин в ее истории слишком строго. Ее отец был одним из них, и независимо от того, что он сделал, она любила его и не хотела, чтобы преподобный счел его погрязшим во грехе человеком.

Пойти на такую уступку Мэпл, само собой, согласился.

II

История, которую поведала Лотти, началась еще до того, как ее семья покинула свою страну. Она не знала многого о том, что произошло, будучи ребенком, а случилось все еще до того, как она или даже ее родители появились на свет. Преподобный Мэпл восстановил картину по большей части самостоятельно, посетив уйму библиотек и музеев, надышавшись архивной пылью, проведя часы за чтением древних газет и писем. Главное место действия ныне скрыто под тремя сотнями футов воды, на дне водохранилища.

Ни для кого не секрет, что история водохранилища вос-

ходит к Первой мировой войне. Некогда на его месте возлежала долина реки Эсопус, насчитывавшая одиннадцать с хвостом городишек. С запада на восток шли Бучвилль, Вест-Шокан, Шокан, Броудхэд-Бридж, Олив-Сити, Олив-Бридж, Станция Браунс, Олив, Олив-Брэнч, Гленфорд и Вест-Харли. За Вест-Харли еще примостилась россыпь домишек, которую люди повадились называть Станцией Харли, либо же просто Станцией. А кто-то ее и вовсе никак не называл – либо потому, что банально не ведал о ней, либо потому, что полагали ее полноправным околотком Вест-Харли, что правдой не являлось. Насколько Мэппл понял, Станция была старше всех соседствующих деревень. Ее построили за несколько десятилетий до прибытия поселенцев, взявшихся осваивать область в начале 1700 года. Когда Станция была заложена, Катскиллы все еще принадлежали индейцам, безо всяких преувеличений. Племена дважды спускались с гор и сжигали Уилтвик. Семьи, что основали Станцию, были голландцами. Что заставило их осесть на том месте – неизвестно; хотя голландцы в целом предпочитали селиться в северной части Гудзона, подальше от новоселов. Почему эти семьи назвали свой дом Станцией – тоже загадка, ибо в том месте, где они принялись расчищать землю под свои каменные жилища, о железной дороге тогда не шло и речи. Возможно, название было связано с родником, вокруг которого был возведен поселок. Преподобный Мэппл предположил, что торговцы и охотники могли использовать это место в ка-

честве перевалочного пункта по дороге из Уилтвика.

Так или иначе, индейцы, как показывала история, оставили Станцию в покое, и долгое время, до 1840 года, к ней никто не выказывал особого интереса. Позже в долине реки Эс-опус стали появляться другие поселки. Оживили местность несколько кожевенных мануфактур – когда-то на дублении можно было порядочно заработать.

Затем, в один прекрасный летний день, из-за поворота на западе показывается человек. Невысок, неприметен, волосы черные и блестящие, будто умасленные, с подбородка струится длинная борода, больше смахивающая на дешевую накладную. Широкие поля его шляпы мало что оставляют стороннему наблюдателю, но черты лица мужчины – нежные, почти что мальчишеские. Одет он в черный костюм, покрытый пылью долгих дней пути. Он едет верхом на телеге, и нет ничего примечательного ни в одной-единственной влачащей ее лошади, бурой кляче, тоже напрочь запыленной, ни в самой повозке... если не считать колес. Колеса в два раза толще, чем следует, и покрыты какими-то изображениями. Что именно нарисовано – не разобрать. Кто-то, завидев повозку на очередном повороте, стал клясться, что на колесах оттиснуты странные символы, вроде как иероглифы. А кто-то утверждает, что это все-таки картинки, просто слегка напоминают буквы. Буквы, похожие на картинки, или картинки, похожие на буквы, – как бы там ни было, все, кто следил за тележкой достаточно долго, сошлись во мнении, что, чем

бы широкие колеса ни были на деле украшены, узор движется будто бы чуть быстрее, чем вращаются ободья. При встрече незнакомец не сообщает вам о себе многого, даже своего имени. Если поздороваться с ним, он ответит, дотронувшись до края шляпы. Если вы спросите его, куда он держит путь, он ответит «в западные горы», не уточнив, имеется в виду Онеонта или Сиракузы, или что-то еще. Его английский не особо хорош, речь искажена тяжеловесным акцентом, который, как утверждают очевидцы, скорее всего немецкий, хотя и тут нет единого мнения. Он минует повороты дороги один за другим неспешно, будто огромная улитка, и на весь путь уходит несколько дней. Дети из разных городишек на пути следования повозки пытаются следить за ним, забираясь на растущие вдоль дороги деревья, но безуспешно – вся утварь путешественника, видимо, распихана по немаркированным сумкам и коробкам, прикрытым брезентом, и лишь один ящик отмечен теми же символами, что и колеса тележки. Один дерзкий малый пробует сбить с незнакомца шляпу метко брошенным яблоком, но ветка под ним ломается, и он падает с большой высоты вниз. Он ломает руку, и незнакомец, что движется достаточно медленно, чтобы слышать крики мальчишки еще долгое время, не обращает на них никакого внимания.

Наконец парень этот поворачивает на Станцию Харли. К тому времени большинство жителей поселков близ Эсопу-са прознали о человеке в черном костюме, и почти все мог-

ли описать его досконально, независимо от того, видели ли они его вживую или нет. Что-то в нем вызывает их интерес. Когда незнакомец останавливает свою лошадь у входной двери Корнелиуса Дорта, общественное волнение увеличивается стократ. Дорты – одна из шести семей, что основали Станцию. Когда фундаменты здешних домов только-только выкопали, когда первые их камни только заложили, они уже были богачами, и со временем их состояние лишь приросло. Поместье Дортов было самым большим в округе. Земельным наделом заправлял Корнелиус. Был у него младший брат, Генрих, но он отправился на поиски приключений в молодости и не вернулся – бесследно исчез вместе с китобойным судном, как сообщила пришедшая с чужбины весть. Портрет Корнелиуса висит в мэрии в Уилтвике и по сей день. Кажется, в молодости он водил дружбу с одним из мэров – настолько они в итоге сблизились, что Корнелиус пожаловал ему часть своей земли; что он получил взамен, кроме места под портрет, разумеется, неизвестно. Может быть, этим все и обошлось, хоть и остаются на сей счет сомнения – не настолько хороша та картина. На ней Корнелиус изображен чуть более безумным, чем в жизни: с чересчур широко распахнутыми глазами, подбрасывающими линию бровей куда-то на середину лба. Надо полагать, художник, некто по фамилии Грейвс, желал наделить черты Корнелиуса – в частности линию рта – суровостью, но что-то пошло не так, и в итоге при взгляде на картину оставалось впечатление,

что изображенный на ней мужчина пребывает на грани не то смеха, не то плача. Высоко зачесанные рыжие волосы Дорта на портрете и вовсе казались вставшими на дыбы змеями. По правде говоря, при взгляде на это творение возникал совершенно логичный вопрос, не приказал ли Корнелиус высечь горе-живописца, едва узрев вышедший из-под кисти того холст (видимо, нет, раз портрет в итоге добрался до мэри). Судя по всему, на счастье господина Грейвса, Корнелиус Дорт плохо разбирался в искусстве.

Таков уж он был – всегда готов лично всыпать своему обидчику розог, а его понятие обиды довольно-таки широко. Личность малоприятная, никто особо не хотел иметь с ним дел. Он был суровым и недружелюбным, из породы дальновидных дельцов, и за то, что его состояние увеличилось, многие здешние семьи поплатились своей землей. Когда незнакомец в черном слезает со своей телеги и шествует к входной двери Корнелиуса, все за ним следящие – главным образом, дети, притаившиеся на деревьях, – уже мысленно готовы к тому, что его ждет быстрое и болезненное знакомство с носком ботинка Корнелиуса.

Когда же такого не происходит, когда тяжелая дверь открывается, человек заходит внутрь и не выбегает через две минуты под гневные вопли Корнелиуса, посылающего его предлагать свое барахло где-нибудь подальше, все начинают озадаченно чесать в затылке. Потом кто-то, щелкнув пальцами, припоминает ситуацию с Беатрис, и все подхватывают

эту идею. Беатрис – молодая жена Корнелиуса, красавица, на добрых двадцать лет младше его, высокая, с молочно-бледной кожей и черными волосами. Злые языки поговаривают, что его предложение она приняла, дабы спасти от разорения Дортом отеческий постоялый двор в Вудстоке. Понятное дело, она была у всех на слуху и на виду, тут и говорить нечего. В прошлую весну открылась ее беременность первым ребенком – событие, вроде бы на самую малость усмирившее мрачный нрав Корнелиуса.

Беатрис любила ездить верхом. По слухам, именно в образе наездницы она впервые попала на глаза Корнелиусу – проскакав верхом через весь город до самых его дверей и принеся прошение касательно ее отца. Забеременев, она не отказалась от верховой езды, не послушавшись предостережений врача, и именно это увлечение привело к трагедии. Когда она направлялась навестить свою сестру в Харли, лошадь (взращенная ею самой с возраста жеребенка), испугавшись чего-то, взбрыкнула и сбросила наездницу прямо на растущее у дороги дерево. Беатрис потеряла ребенка и впала в затяжную болезнь, от которой до сих пор не могла оправиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.